

Юлия СИРОМОЛОТ

*Юлия Сиромолот родилась в 1970 году в городе Ясиноватая Донецкой области. Окончила Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. Работает техническим переводчиком. Участвовала в литературном проекте «Фрам» (издательство «Амфора» и Макс Фрай), рассказы печатались в сборниках, а также в рамках ежегодного литературного конкурса в журнале «Химия и жизнь». Живет в Киеве.*

## ПОДСОЛНУХ И ЯБЛОКИ

*Роман*

*В память о CRS, истинном друге моей души*

Сестра, подруга, сестра дорогая, говорят они... Шепчут прямо в ухо, будто сквозняком, касаются шеи. Расскажи. Говори за нас, потому что у нас нет сил, нет голоса, жизни. Потому что мы исчезли, нет нас на этом свете, а может быть и в других. Они приходят в сны, показываются среди белого дня, незнакомый язык становится вдруг знакомым. Почему-то это важно. Но мне от этого нет покоя, сплошные заботы, поэтому я тоже настаиваю: почему? Почему вы все ко мне, по мою душу, для чего вам мой голос?

Потому что ты умеешь. Потому что ты можешь.

А я что же?

Я умею.

Ну, вот и говорю.

\*\*\*

Келли Райан О'Шоннеси убежал из дома в неполные шестнадцать. Беглецы из его краев обычно направлялись на Запад (если, конечно, их не везли против их воли в Австралию, например), хотя и не всегда напрямиком. Поэтому в один прекрасный день он ступил на мостовую большого города далеко на западном краю света. Город вдохновлял. Имя его напоминало о рае. Он и вправду был прекрасен. Келли соскочил с подножки грузовика, который вез его с юга, и глубоко вдохнул океанский воздух.

Ему был почти двадцать один год. Он уже повидал белый свет – Европу и Америку, видел лавандовые поля и свалки, дороги и порты, большие города и захудалые деревни. Он был тощий, быстрый, настойчивый и бесстыжий. Знал несколько языков, был рыбаком на траулере, бухгалтером, вышибалой, наемным танцовщиком. Если случалось драться – дрался, не задумываясь. На груди, там, где сердце, у него была татуировка – сложный ирландский узел. В конце концов, и сердце-то у него было ирландское – горячее, веселое и стойкое.

Он знал, что останется здесь. Что город будет принадлежать ему. Что все впереди, и что жизнь прекрасна.

Пусть будет – Симон. Приятное имя, и к внешности подходит. И вызывает доверие. Родился в соседней стране, учился в Англии, вернулся было домой, но там сейчас неспокойно, потому жить и работать приходится здесь. По профессии – журналист. Нет, не политика сама по себе. Но чтение, фильмы, книги. Общественное мнение. Это важно, а общественное мнение нового поколения – это будущее. После великой войны мир

изменился. Он обновился и стал моложе. Поэтому очень важно, что читают молодые, чего они хотят и каким путем пойдут те, кому сейчас двадцать. А в этой части света вообще молодые силы ощущаются сильнее, чем где бы то ни было. У этой страны огромный потенциал. Жизнь – интересная штука, и самое интересное, безусловно, впереди.

А еще он любит океан.

А океана тут хватает на всех.

Бенедикт Карре родился и вырос в этом городе. В лучшем городе на земле. У лучших в мире родителей, под самым ясным небом – между горами и океаном. В городе, который каждый день улыбался ему миллионами лиц, удивительными образами парков и улиц, окнами, оградами, узором облаков на небе. В городе, который весь был праздничных цветов, словно прекрасный цветок между холмов и гор. В четырнадцать лет родители подарили ему на день рождения фотоаппарат.

Катерина Славичкова родилась в Праге. В Златой Праге. В сердце ее были зимы великой войны, хотя она была тогда еще совсем мала, и была в ее сердце та чудесная, сказочная, святая весна, когда вместе со всем белым светом – а он стал золотым и зеленым – проснулись и люди от страшной военной зимы. Были в ее сердце и нежные осени – шелковые, золотые, нежно-серые... А потом наступило лето. То самое. Жгучее, страшное. В тот год вся жизнь Катерины пошла кувырком. В тот год у нее было два лета.

## *Часть первая*

### *Город по имени «Рай»*

#### **«Понимаешь, танки!»**

– Ты понимаешь, дядя Иржи, танки! – я рывком поднялась с диванчика, подошла к окну... За окном теплый ветер трепал чахлые пальмы. Здесь весна. Рождество скоро. А здесь весна. С ума сойти.

Дядя Иржи – квадратный, краснолицый, с бритой головой. Он вовсе мне не дядя, а так, дальняя родня, седьмая вода на киселе, и та по бабушке. Но все-таки родня...

– Не видала ты танков, что ли, – бурчит он. – Небось лет-то тебе сколько?

– Видала. И эти даже видала, со звездой. Но только тогда... тогда другое было, тогда они немцев прогнали, и все надеялись... А мне ведь как казалось: вот я родилась, а тут война, я и не помню почти ничего, только что холодно и страх, а толком ничего. И потом вдруг весна, май, яблони цветут – и русские приходят, смотрят, повторяют за нами – «Злата Прага... Злата Прага...». И все мне казалось, что вот как я расту, так и мир со мной тоже растет, и все будет только лучше, а тут...

Горло сдавило, я еле сдерживалась, чтобы не заплакать.

– А тут вдруг... как будто мы им враги. Как можно вообще? Так... как к себе домой... и Прага уже не Злата, понимаешь? И уже не наша тоже...

– Политика, – угрюмо вздыхает дядя Иржи. – Но и леший бы с нею, но что ж тебя аж сюда-то закинуло? Мать-то где, к примеру?

– Мама там... осталась. Сказала, ей уже что... а я молодая, мне еще жить и жить... А Павел в Дюссельдорф уехал, а я вот... потому что, знаешь, если они к нам как к себе домой зашли, что их остановит? Какие границы? А тут хотя бы... океан.

– Ну ладно, океан тебе. А жить-то как думаешь? Язык знаешь?

– Испанский нет... не знаю... Немецкий знаю, конечно. Английский немного.

Французский так... с пятого на десятое...

– А дело какое-нибудь знаешь?

– Ну... я учительницей работала... а потом в журнале для молодежи писала... о книгах там, о музыке – что слушают, что поют... а журнал первым делом и закрыли, потому что «тлетворное влияние»...

– Учительницей... В журнал... И о чем только твоя мать думала... Кому тут учительница нужна, что чешского, что немецкого... Я сам человек простой, я тут «сервесеро чеко», пивовар, ну, у меня всех дел пивоварня, и рабочее место если есть, так на складе... Эх, Ката, Ката, задала ты мне задачу...

Я молчала. Что тут скажешь? Дура и есть, конечно, и надо было дома оставаться... Но вся эта тоска и страх... и Павел с распухшим чужим лицом... И танки. Проползают медленно, с хрустом, давя белый свет.

– Ладно, – говорит дядя Иржи и набычивается так, что белая рубашка с короткими рукавами аж хрустит у него на спине. – Ладно. Не отсылать же тебя назад, раз уж так далеко. Поживешь у нас пока, пристрою тебя учетчицей на складе, все-таки пиво я варю хорошее, а они тут до него не дураки... и в школу с Марженкой моей ходишь, а нет, так хоть учебники ее считаешь, ты девка разумная, глядишь, через полгода уже и лопотать будешь, язык у них нехитрый, раз уж я тут как заправский дон Хорхе болтаю, и ты сумеешь... А там, может, замуж тебя отдадим, или еще как жизнь устроится... ну, не реви, не реви, а то и реви, вода дело такое, как пришла, так и уйдет...

Поднимается из кресла и выходит, и по пути бормочет себе под нос: «Ишь ты... танки...»

## Радио

В студии неяркий свет, пахнет деревом, пластиком, немного озоном и горячим металлом. Микрофон свисает со штанги, как звезда. И мерцает в полутьме, как звезда. «С вами радио “Эль Хирасоль”...»

*Мне нравится, как ты молчишь: как будто тебя и нет,  
Как будто мой далекий голос не трогает тебя.  
Кажется, и взгляд твой упорхнул,  
И поцелуй сомкнул твои уста и запечатал.*

Лампочка на длинной ножке освещает часть пульта, листки с текстом, но человеку у микрофона сейчас не надо смотреть в текст. Он закрыл глаза, он читает по памяти.

*Поскольку все на свете наполнено моей душой,  
Ты вступаешь из всего на свете, моей души полна.  
Мотылек моих снов, как с моей душой ты схожа  
И с печалью, со словом печали.*

Кто его слушает? Кто не спит ранним утром – молодые матери, старики, рабочие в порту, больные, которым неймется в этот час? У кого есть радиоприемник, время, бессонница, кто вращает ручку, чтобы услышать его голос?

Он не знает наверняка. Он просто говорит наизусть.

*Мне нравится, как ты молчишь – как будто в отдаленье  
Безмолвно жалоба твоя как мотылек трепещет.  
Меня не слышишь, голос мой тебя не достигает.  
Позволь и мне молчать в твоём молчанье.*

В городе замирает ночная жизнь. Повара и охранники, официанты и танцовщицы выходят в бледный рассвет. Вот идут трое парней и девушка, похожая на мальчика, у одного из компании – долговязого и стремительного в движениях – радиоприемник висит через плечо. Музыки не хочется после целой ночи грохота и рока, новостей еще нет, и вдруг – голос. Негромкий, медленно отпускающий слова в наступающий день. Долговязый замирает. Компания обгоняет его, машет, окликает, он отмахивается – стоит и слушает с удивленной улыбкой на лице.

*Позволь мне говорить с твоим молчаньем  
Светлым, как светильник, простым как кольцо  
Ты как ночь, полная тишины и созвездий –  
От них твое молчание нисходит.*

Радиостанция невелика, слышно ее только в пределах видимости. Но бухта уже близко, уже видны знакомые рыжие холмы. Корабль возвращается домой, вахтенный ловит шальной эфир. Прислушивается, погружаясь в воспоминания. Все хорошо. Скоро дом. Скоро берег.

*Мне нравится, как ты молчишь: как будто тебя и нет.  
Далекая и скорбная, как если бы умерла.  
Единственного слова, одной улыбки довольно –  
И радуюсь, радуюсь: это неправда<sup>1</sup>.*

Микрофон выключен, наушники сняты, можно выйти из кабинки. Симон улыбается звукорежиссеру, тот в ответ показывает большой палец. Станный парень этот Симон. Взять хоть это радио. Три часа эфира в сутки, рано утром и вечером – ни тебе спорта, ни рекламы, короткий выпуск новостей, а потом только музыка, немного юмора, иногда весьма едкого, стихи, какие-то консультации в прямом эфире – то врач, то юрист, то учительница что-то рассказывает...

Три минуты, пять, снова три – все идет по заранее рассчитанной сетке, радио «Подсолнух» встречает и провожает день.

Звукорежиссер прижимает чашечку наушника, и голос Луи Армстронга заполняет мир.

And I say to myself,  
What a wonderful world...

What a wonderful world.

### **Tangero loco<sup>2</sup>**

...Знаешь, танго – это не обязательно про сердце на разрыв, про соблазн или там про гибель. Танго нежное бывает, такое даже... со смехом, с шуточками, да и вообще простое бывает, даже семейное. Но я еще и маламбо танцевал. А это уже совсем другое дело. Там все такое, знаешь, ну, неприкрытое. Я когда в Байресе жил – увидел одного такого прямо на улице. Гитарист сидит, бренчит себе в два аккорда, а парень этот – он был сразу и как огонь, и как лед, и человек, и конь, и нож, и тот, кто с ножом... Я за ним

---

<sup>1</sup> Пабло Неруда. Пятнадцатое стихотворение о любви. Подстрочный перевод А. Гарридо.

<sup>2</sup> Чокнутый тангеро (исп.). Тангеро – профессиональный исполнитель танго.

пошел, приставал к нему, чтобы научил, обещал ему все, что пожелает, ну просто вообще все, только бы научил... Вот он надо мной смеялся... Я тогда даже еще испанского толком не знал, а они там считают, что нужно родиться в Аргентине, в пампе этой, а чужаку-де маламбо не дается, кишка тонка. Но я все-таки кое-чему научился, да. Не знаю, в чемпионате их этом, может, и не выступал бы, но все-таки выучился неплохо. Ну, потому я и «клоко» – «чокнутый», потому что дух этот их свирепый, наверное, хорошо перенял. Такая у меня тогда была жизнь – веселая, горячая, счастливая – ничего не скажешь.

А потом я тебя встретил.

Помнишь?

Вспоминаешь хотя бы?

Не знаю, каким ветром тебя тогда в «Мальвы» занесло. Я сам там отирался только потому, что на мадам Фло фискалы наехали, вот она нам на целый месяц вольную дала – гуляйте, милые, только не прое..тесь вдрызг, вы мне в новом сезоне нужны живые и целые... ну вот я и гулял. А ну-ка, работаешь и так каждый день, кроме воскресенья и больших праздников, а еще же и просто жить хочется, и красивых вокруг полно, и все это – для тебя, потому что на сцене танго совсем не такое, как в городе где-нибудь. За деньги страсть изображать, – ну, за неплохие деньги, да – это одно. А когда парень или девушка нравятся, то и двигаешься по-другому... И все как-то... милее, что ли. Когда точно знаешь, что это просто для себя, просто потому, что жизнь такая классная, потому что они есть, и ты есть – сам по себе и для них, конечно, но по своей воле. Вот что важно – знать, что ты это все по своей воле делаешь.

Вот с тобой я точно знал – про себя, если уж на то пошло. Раз увидел – и попал. Ты ведь был такой... словно кругом вычерченный, вокруг темно, а ты сидишь на свету – и сам свет. И еще кое-что я тогда увидел сразу: как будто за тобой – стена. Есть такие люди убогие, геморройщики, всю жизнь перед собой стену толкают – защищаться, прятаться. Нет. Ты не прятался. Словно стена всегда за спиной – можно на шаг отойти, ну, на два, но дальше уже нет. Упереться можно, а вот отступать нельзя. И ничего ты с таким не сделаешь, ничем не отопрешь, если сам не захочет.

Но я все-таки к тебе подошел. Спрошу, думаю, с меня-то не убудет. И прямо сразу такого дурака сваял, и смех и грех: смотрю, блондин, глаза синие, и я решил, что ты англичанин, что-то такое у тебя в лице было... И вот я по-английски здороваюсь, имя свое грешное называю, а ты-то в ответ тоже по-английски, но только «Симон», не «Саймон». Ну, тут я так и сел, ну да, сел себе на стульчик, который там стоял, и говорю – чисто как дурак: «А почему?» Вот ты, небось, решил, что я и вправду «клоко»... Но из-за этого и разговор уже завязался, то да се, кто и откуда, кто что любит, чем живет... А я не столько рассказывал, сколько слушал. Не то чтобы я так уж любил английский-то, но у тебя выговор был такой чистый, приятный (кто его знает, может, тоже ирландские учителя у тебя были, где ты там учился в этой Великобритании) – я прямо слегка одурел, пять лет вокруг сплошной испанский... Ты ведь как и я был – и не изгнанник вроде, нет, добровольно тоже вроде бы с родины уехал, а может, и не совсем добровольно, потому что если больше парнями интересуешься, то может и туго прийти... Ну и я тебе так – мол, для чужака в чужой стране ты ее слишком любишь, похоже: и города, и обычаи, и вино, да и парни, небось, местные тебе нравятся. Ну, подкалывал, понятно. А ты посмотрел на меня так серьезно, будто измерял во мне что-то, и говоришь: «Вот прямо сейчас мне очень нравится один ирландец». Я тебе честно скажу, никогда такого со мной не было, чтобы аж дыхание перехватило. Продышался я малость и отвечаю: «Ну, тогда этому ирландцу страх как хочется у тебя кое-что спросить». «Спрашивай». Ну вот, говорю, я и то про тебя уже знаю, и это... Одного не знаю только пока – что ты любишь в постели.

А ты молчишь и смотришь на меня – как будто огонь на меня глядит, страшно ведь... Но я все-таки улыбнулся. И ты в конце концов свое слово сказал, и все у нас началось...

Ничего никому не расскажу, это только наше с тобой... Об одном всегда буду помнить, – как ты меня спросил, что это я такое там бормотал, пока мы друг друга любили – не ругался ли. А я объяснил, что это мой родной язык, гэльский. «*Мо ивнэс*» – это значит «радость моя», «*мо гра*» – любимый... Ну, может, еще Господа нашего пару раз всеу помянул, но не даром, не даром. Хотя и грешен я, пробы ставить негде, но милость Божья ведь никому не заказана... Ты засмеялся и спросил, что еще я такое говорил про свет. Мол, одно только слово понял: «*luz*», по испански – «свет». Но на нашем языке «лус» значит «цветок», а «Грене» – солнце, «Луснагрене», «подсолнух», так я тебя назвал. А ты удивился: почему подсолнух? Что за прозвище такое? И тогда я объяснил, что ты и вправду на подсолнух похож – высокий, стройный, нестигаемый, смелый – небось, и на солнце глядишь, не щурясь, не уклоняясь от того, что день несет. И пока я всю эту поэтическую фигню нес, ты на меня серьезно так смотрел, а потом и говоришь: «Значит, Лус... Что сказать, бывали у меня прозвища и похуже. Но тут ты как-то очень в точку попал, потому что меня и вправду называют “сеньор Подсолнух” – из-за передачи на радио». Вот видишь, говорю, ирландское слово-то что копье – попадает точно в цель, но кто же тебе гадкие прозвища-то осмеливался давать? «Ну, не так чтобы гадкие, но кое-кому казалось, что “Блондиночкой” меня называть в самый раз будет». Ох, говорю, нет, какая ж ты к чертовой матери блондиночка, ты воин настоящий, ты Подсолнух, цветок мой золотой, *иш туса мо гра мор*, великая любовь моя, настоящая!

Взял я тебя за руку, и стало на самом деле так.

На время. Ненадолго.

### **Со знанием иностранных языков**

...Маржене пятнадцать лет, и для подружек и приятелей она Марисоль. Все тетрадки, с которыми она ходит в католическую школу святой Урсулы, подписаны: «Маржена Гавличкова», но в учебнике испанского, который я у нее зачитала, в середине книги на полях, ближе к корешку, несколько раз тем же самым почерком, что и на тетрадках, написано: «Марисоль Гавальда». Бедный дядя Иржи...

Я очень стараюсь говорить по-испански. Но чаще приходится писать немецкие письма дядиным контрагентам в Аргентине, вычитывать прайс-листы на английском, а однажды он даже принес мне какие-то английские технические бумаги – манометры, змеевики, еле справилась. Но, если я не хочу до окончания дней просидеть у него на складе или в конторе, мне нужен испанский, поэтому я уже одолела два учебника для младших школьников (исписала две толстые тетрадки упражнениями) и пытаюсь разговаривать с грузчиками (они-то меня понимают, но в ответ раздражаются тирадами, в которых я не понимаю ни слова). Я хожу на уроки в вечернюю школу, там учат писать и читать, но со мной учительница Элиза занимается отдельно – писать-то я все-таки умею, не черточки же мне выводить.

А еще я слушаю радио.

Здесь тоже иногда читают стихи, как дома... Чаше, конечно, слышишь новости, или спортивные передачи, или какие-то радиопьесы без начала и конца: про донью Исабель и ее семейство, про зловещего доктора Мортиса... И музыка, музыка, музыка... Но два раза в день, утром и вечером, выходит в эфир станция, которая называется «Подсолнух» – вот там, насколько я понимаю, рассказывают о книгах. И читают стихи. У диктора очень приятный голос, четкая речь. Здешних поэтов я не знаю, но однажды он читал Уитмена, и, честное слово, я чуть не расплакалась. Мой-то Уитмен, до дыр зачитанный, остался за морями. До того ли, когда садишься в поезд с одним чемоданом... Слов я тогда не поняла, но ритм был знакомый... иногда совсем немного надо и чтобы

заплакать, и чтобы утешиться.

Время если и не летит, то идет – был декабрь, когда приехала, а теперь настало лето, да только здесь ведь все наоборот. Так что ледяным летним днем, грея на складе пальцы о кружку с кофе, прочла на задней страничке журнала «Консуэло», который выписывает Маржена-Марисоль: «нужен сотрудник со знанием... со знанием иностранных языков». И телефон.

Конечно, я позвонила. Говорить по телефону на полужнакомом языке... Я даже не подумала об этом. Женский голос с той стороны тараторил, в трубке трещали помехи. Что? Надо быть в четверг в столице?

В четверг в столице?

Мне?

Да, Сеньорита, в три часа, пожалуйста. Я вас записываю. Всего хорошего.

И «бип-бип-бип».

Я думала, там скажут – пришлите биографию, что-нибудь еще, напишите статью на заданную тему – я почему-то была уверена, что писать надо будет не по-испански, а на этих самых «иностранных языках», о Господи, ни я же не спросила, на каких, ни она не сказала...

И дяде еще как-то надо же будет объяснить.

Дядя, впрочем, оказался меньшим из препятствий. Он, конечно, бурчал и ворчал весь вечер, и возмущался, и «а как я буду без переводчицы?» – «А как ты раньше был?», и придирчиво рассматривал Марженин журнал – мол, фу, чего еще выдумают! – но в журнале было про то, как быть хорошей девочкой и, слава Богу, никакой рекламы с верблюдами... и закончил тем, что «пропадешь ты там, в столице, и нас совсем забудешь».

Я совершенно не собиралась никого забывать и вообще не собиралась пропадать ни в каких столицах, ответила, что меня еще никто никуда не взял, а только собеседование... и тут до меня дошло, что от нас туда больше ста километров, везти меня некому, а своей машины у меня нет, потому что куда мне тут ездить, от дома и до склада?

И ехать, значит, придется автобусом.

О том, что это другой город, другие люди, вообще все другое, я сообразила только в автобусе. Слишком много «другого» – и об этом стараешься не думать, не пускать это в себя, устроился как-то на краешке – и лады.

И тут вот снова краешек. Ну что же. Посмотрим, краешек чего.

На нужном этаже надпись «Консуэло» была сразу на нескольких дверях. За третьей подряд меня попросили присесть. Было без пяти три. Через пятнадцать минут секретарша спросила, не хочу ли я кофе. Мы выпили кофе, и я поняла, что нервничаю. Солнце уже исчезало за соседними зданиями. Скоро вечер. Последний автобус уходит – я посмотрела на часы – через сорок пять минут, а отсюда еще до вокзала добираться минут двадцать... Я очень тщательно составила и произнесла фразу: «Мне было назначено на три, я опаздываю», на что секретарша, виновато вздернув брови, сказала: «Фотографы!» – как будто это что-нибудь объясняло. Еще через десять минут из-за двери с табличкой «Творческий редактор» вывалилось несколько человек с какими-то треногами, штангами, папками и тубусами. Люди эти были мрачны и суровы, а один – с физиономией такой, будто его там публично пороли. При этом в приемную не доносилось ни звука.

Секретарша снова двинула бровями, мол, проходите. И я, настроенная очень решительно, вошла. У меня оставалось всего десять минут.

Творческий редактор сидел на подоконнике, уткнувшись лбом в стекло. Я собралась кашлянуть или еще как-то привлечь внимание, но он уже обернулся и легко соскользнул вниз.

– Добрый день, – сказал он голосом, который отчего-то показался знакомым. – Ради Бога, извините, я сам еще недавно работаю, и пока не понял, что в этом деле нельзя планировать так, как я привык... Ведь это вы – тот человек со знанием иностранных языков?

Я кивнула. Неужели я правда его понимаю – каждое слово? Может быть, он сам иностранец – светловолосый, голубоглазый...

– Проходите. Садитесь, пожалуйста. Меня зовут Симон, – он дал мне визитную карточку, и я скосила туда глаза, ожидая увидеть немецкую фамилию – с такой-то нордической наружностью, но фамилия была на удивление здешняя – не то испанская, не то итальянская... У меня не было карточки, конечно. Я просто назвалась. Он не проявил никакого удивления.

– Катерина, – сказал он, как бы пробуя звуки на вкус. Он что, в актерской школе учился? – Вы из Европы, так ведь?

Я, как могла, коротко объяснила. И с удивлением заметила, что он не то чтобы опечалился – но какое-то серьезное выражение сложилось на его лице. На очень живом, очень приятном лице.

– Все это так печально, – сказал он. – Вы здесь устроены?

Я не очень его поняла, и, кажется, по мне это было видно.

– Может быть, мне лучше говорить по-немецки? – немецкий у него был всяко лучше моего испанского, но я помотала головой.

– Нет. Говорите по-испански, пожалуйста, просто я не поняла, почему вы спрашиваете... Что это значит – устроена?

– Я имел в виду – документы, жилье, работа?

– По поводу работы я как раз к вам пришла. В остальном все хорошо, – и тут я посмотрела на большие настенные часы и поняла, что нет, нехорошо.

– Что-то серьезное? – тут же спросил он. Господи, не человек, а стрелочный прибор какой-то.

– Я пропустила автобус до побережья. Последний. Придется ночевать на вокзале.

– Может быть, и не придется. В конце концов, это я заставил вас ждать. Наша с вами встреча на сегодня последняя, и я тоже еду на побережье. У меня там эфир в семь часов, так что мы как раз успеем – если вы не возражаете.

И тут я поняла, отчего мне знаком и сам голос, и эти мягкие интонации.

– «С вами радио “Эль Хирасоль”»? Это вы?

Он просиял.

– Вы знаете? Слушаете?

– Да. Помогает... учить язык.

– Если бы я знал... Вы могли бы не ехать в такую даль, встретились бы на месте.

Но Серена никогда не спрашивает такие мелочи... Ну хорошо, давайте тогда перейдем к делу. Мне нужен сотрудник со знанием иностранных языков, и вот зачем...

Он объяснял, а я в какой-то момент, к своему стыду, почти выключила понимание и немного послушала просто так – как песню, как радио. Дал же Бог человеку такое богатство! Рефераты зарубежных журналов? Как это называется – «дайджесты»? Книжки, молодежные течения, кино, музыка? Хорошо. Я уже делала такую работу. Нет, французский, к сожалению, нет... Но немецкий и английский – безусловно, да. Да, конечно, я буду писать на испанском.

– На первых порах поправим, если будете ошибаться, не беспокойтесь. Вам придется ездить сюда работать – в библиотеку. Надо будет купить машину. Подумайте об этом. Ну, да это дело будущего. А сейчас нам пора.

Я кивнула. В голове у меня тоненько звенело. «Нам пора». У меня есть работа. Мне не придется ночевать на вокзале (я вспомнила типов, которые там шныряли при свете дня – в ночи бы я там и глаз бы не сомкнула, даже если было бы где). И этот человек – такой обходительный, спокойный, такой уверенный в себе...

Секретарша в приемной кисло улыbnулась нам.

– До завтра, Серена. Сеньорита Славичкова будет нашим референтом. Всего доброго.

На лестнице он остановился и внимательно на меня посмотрел.

– Вот что. Там внизу на стоянке такой... бежевый «Мустанг», верх черный. Вот ключи. Подождите меня там, я через пять минут буду. Через десять самое большее.

И побежал вниз по лестнице. Я посмотрела вслед. Белокурый принц-молния и сеньорита Славичкова, запомнил, надо же, – как Золушка. Не хватает только туфлю на лестнице потерять...

Он и вправду пришел ровно через десять минут. Подал мне бумажный пакет:

– У них там внизу очень вкусные булочки. Кофе ужасный. Я бы не рискнул вам предложить, но булочки просто фантастические. Если хотите – ешьте, это вам.

Так мы и поехали к океану – а булочки оказались с корицей.

## Бо Финне

Меня зовут Бенедикт – спасибо папочке. И матушке спасибо – второе мое имя Бонифас.

Так что для нормальных людей я – БиБо. Но теперь уже чаще откликаюсь на Бо Финне. Это значит, кажется, «Белая Корова», сначала я понятия не имел, а когда узнал – привык уже и не обижался. Звучит, во всяком случае, не хуже, чем Бенедикт Бонифас Карре Четвертый.

Я – фотограф. Ну, как это – алюминиевые «зонтики», свет, подиум, на нем кто-нибудь более или менее одетый, а посреди картины раскоряченная задница в джинсах. Эта задница моя, потому что я ловлю ракурс. Я люблю такую работу не потому, что можно увидеть девушек почти без одежды – когда на них глядишь через камеру, это совсем не то, что вдвоем. Это известная штука. Но хороша в моем деле свобода – ты сам по себе, весть о тебе, какая ни на есть, впереди полегоньку бежит. Там оставишь снимок, тут – глядишь, ты уже на слуху, без куса хлеба не останешься. Если, конечно, не обещают заплатить в конце месяца или после того, как уйдет тираж.

А вот Келли платил сразу. Больше того, он обычно платил вперед, потому я часто соглашался с ним поработать. Хотя сказать, что Келли – странный тип, – считай, ничего не сказать. Из-за него были у меня знакомства и приятные, с красивыми добрыми девушками, и нелепые – с девами-лесбиянками в кожаных штанах, и с липучими парнями, которых я не привечал – еще чего! Но одно знакомство буду помнить до последней доски – теперь уж точно.

Позвонил он – и с ходу:

– Бо Финне, я тебе должен двести.

– За что?!

– Приезжай.

Я приехал. Две сотни на дороге не валяются, а у меня еще блок питания сдох... Отсчитывая задаток, Келли сказал, чтобы я завтра послал всех на фиг, потому что мы будем снимать целый день.

– Я уговорил его, он придет.

– Кто?  
– Лус. Бо Финне, ты пропадешь. Какой парень!  
– Мне-то что? Я парнями не увлекаюсь, ты знаешь.  
– Глупый! Людей надо любить. Всех.  
– И без разбору.  
– Ладно тебе. Не подведи, Бо Финне, не вздумай – дорогого человека я позвал, не прощу, если продинамишь.

Я весело послал его, куда обычно посылают, вышел – посмотрел на новенькие десятки и по-быстрому зачеркнул все другие дела на завтра, написал новое.

Мы с Келли пришли раньше времени – ему не терпелось, засели в «Апельсине» и успели выпить по пиву. Тут Келли толкнул меня:

– Вот они, там – Лус. И этот его... Хайме. Вон, у входа.

Ким – надо думать, вон тот, маленький, с проволочной копной черных волос, брови густые, глаза – запятые, рот скорбный – *чинито*<sup>3</sup>. Тьма ночная. А Лус... Я просто обалдел. Никогда не видел такого красивого парня... и подумал, до чего Келли мастер давать прозвища. Лус. Свет. Он рядом с этим черным пятном просто светился. Я сразу увидел то, что для меня было важно: как держится! Как всадник. И лицо – в любом ракурсе обозначивается четко, это хорошо... Я не удивлялся, что Келли смотрит на него, нервно скалясь и терзая сигаретку. Лус оглянулся, заметил нас, положил руки тому раскосому на плечи. Наклонился и поцеловал. И черный мальчик ушел, топорща локти и не оглядываясь.

Вот тут мне стало страшно. От приятелей Келли – чего еще ожидать... Я испугался, потому что ухватила за горло дикая мысль: как бы я на месте этого чинито... О-ой, пропал БиБо, все – набрался от тех, с кем повелся. Это что ж такое, что? Ох, морда-то горит, как свекольный салат – спрятал в кружку с пивом, а он уже здесь...

– Привет, друже! – Келли его обнял, но целоваться они не стали. – Это Би Бо Финне, он будет снимать. Бо, знакомься – это Луснагрене.

– Лус... что?

– Подсолнух, – отвечал Лус, усаживаясь. – Келли всех клеймит, обычай у него такой... Иногда попадает в точку.

– Всегда попадаю. Подсолнух – так и есть. А вот он – Бо Финне, потому что он белая корова. Глупая белая корова. Посмотри, как он на тебя пялится. Лус, ты бы хоть щеки сажей мазал. Парень влюбился с первого взгляда.

– Вообще-то, меня зовут Симон, – Лус улыбнулся... – «Подсолнух» – это радиостанция, я там иногда передачи веду, вот ему и показалось очень удачным... Хорошо, Келли, сколько у нас времени? Кофе успею?

– Успеешь, – отвечал тот, суетливо пододвигая сахарницу, делая зазывную гримасу официантке и пр. Я уже опомнился от первого потрясения, но острое чувство беды ушло, а осталось напряжение – как будто струна. Я собственными глазами видел, как Лус поцеловал того мальчишку. Я знал, что он из тех, кого называют «*марикон*», но не мог поверить. Передо мной сидел парень как парень – красивый, но мужской красотой, не слащавый, не с тайной тоской в глазах, как у Келли, который за пять минут скурил две сигареты и порывался вытащить третью. Бедный Келли. Бедный я... Вдруг накатило: сообразил, что не знаю, какую именно съемку задумал чертов ирландец... Я ужаснулся от одной мысли, что Марьям положит влажный блеск вот на эти твердые губы, и воин превратится в проститутку... Я, наверное, побледнел. Келли прекратил ковырять пачку, сообразил, что она пустая, смял и выкинул. Тут и перехватил мой взгляд. Не знаю, догадался ли, но прочистил горло и сказал, что нам пора.

Всю дорогу до студии, даже в лифте, я думал только том, как бы мне отмазаться и

---

<sup>3</sup> Латиноамериканец китайского происхождения, букв. «китайчонок».

уйти. Но для этого нужно было по-хорошему отдать Келли его вчерашние полста, а я уже купил пленку, да и лампу для вспышки новую, и от денег остался гулькин нос. Угораздило же связаться с этой похотливой сволочью, которому все равно – с парнями или с девушками. Я уже забыл, как вчера обрадовался задатку – видел только, что Келли поглядывает на Луса и улыбается нервно. Блядски улыбается – так мне казалось в сумеречном лифте, и только когда я у дверей студии увидел Марьям, толкающую две фирменные стойки с одеждой от Паса Калье – бросился ей помогать, зарылся лицом в холодный шелк и в рубчатые твиды, чтобы только ни Лус, ни Келли не увидели, какое облегчение...

Снимали долго. Келли был в ударе. Он вроде бы носился по студии, участвовал, обсуждал каждую позу, застегнуть или расстегнуть пуговицу, то или это надеть вот под этот пиджак, растрепать волосы или, наоборот, попросить Марьям пройтись щеткой... Но выходило так, что ничего от Келли не оставалось, и снимал я так, как хотел, очевидно, Лус – я бы сказал, строго. Я знай себе щелкал затвором и думал – этот парень понимает, что делает. Ему не надо притворяться, усаживаться верхом на стул, оглядываться через плечо... все эти расхожие приемчики просто не существуют. Я делал пять-шесть кадров, потом Лус шел в угол переодеваться, и от меня требовалось все самообладание, чтобы не смотреть в ту сторону. Как он отпускал пальцы, проверяя застежки – с ума сойти, ведь это молнии-пуговицы, а если бы там было живое – кожа, или волосы, или губы... Мне было уже все равно, я под конец сессии настолько одурел, что и мыслям этим не ужасался. Наконец мы пошабашили – Паса пришел за своими вещичками, у Келли кончились сигареты из недельного запаса, я с ног валился, и Лус, поглядев на часы, улыбнулся сердечно и сказал, что ему пора.

Мне бы ехать домой, проявлять, смотреть, что и как, – но я сразу сказал – режь меня, два дня – не меньше. Келли кивнул. Время шло к полуночи, но мы оба были немного на взводе, а он еще и от табака – и дорога нам была в «Апельсин», мы и не сговаривались.

Келли посигналил бармену, и ему принесли кофе с виски, но не дамский айриш, со сливками наверху, а просто пополам – без сахара и молока. Келли прихлебывал и шурил воспаленные глаза, а я для чего-то заказал пива и теперь с отвращением смотрел на высокую пену «Стеллы». Так мы сидели, помалкивали, и я сдался – или будем молчать о нем, или поговорим.

– А ты – давно его знаешь?

– Давно. Слушай, купи мне сигарет.

– Почему я?

– Я на них уже смотреть не могу...

– А курить будешь? Чудак ты.

– Давай, Бо Финне, слушайся старших. На вот.

Я слез с табурета.

– Ладно. Каких тебе?

– Все равно. Только покрепче и не женские.

Я проторчал у автомата минут пять, выбирая покрепче и не женские, потому что на «Премиум» явно не хватало, а поганые «Кармен» без фильтра я из одного человеколюбия покупать бы не стал. Вернувшись, заподозрил, что Келли просто меня отсылал подальше, потому что он быстренько отошел от стойки с телефоном. И – чокнутый, ей-Богу, – все-таки закурил, уставился сквозь дым прямо в душу. Уж не прикидывает ли виды на меня? Вот чего бы совсем не хотелось... Но Келли не прикидывал. Хорошее у него было правило – если знал, что товарищ не склонен, то и не пытался. Правда, после сегодняшнего – как бы не передумал. Нет уж, извини, наваждения – это одно, а по жизни...

– Ты не расстраивайся, – Келли заговорил тихо, голос у него сел от курева и виски.

– Это все так. Все, кто его в первый раз видит.

– А во второй?

– И во второй. И всегда.

– Он модель?

Келли покачал головой.

– Писатель. Что, не веришь? Думаешь, у писателя перо за ухом, седалищная мозоль и нимб?

– Да ничего я не думаю. А что он пишет?

– Так... Классные вещи... А что снимается – это тоже... для удовольствия, и чтобы мне помочь. Он хороший друг... Я тебе дам почитать, если хочешь, или сам у него попроси.

– А разве я его увижу еще?

– Почему нет?

– Не знаю... Как-то он... Как ангел. Разве люди такие бывают?

– Бывают, Бо Финне. Это ты хорошо сказал – как ангел. Или как *фьяриши*, знаешь, кто такие?

– Не от мира сего?

Келли снова кивнул и допил кофе. И тут же показал сонному бармену – повтори.

Я подумал и сказал:

– И я еще... знаешь, как это – что такой парень – гей? Я бы никогда не поверил...

– Отчего же? – отвечал Келли, вкручивая недокуренную сигарету в пепельницу. – Я, например, с ним спал.

– И... как? – Богом клянусь, ничего другого у меня не вырвалось.

Келли ткнул в губы окурок, спохватился, чиркал зажигалкой, затянулся все-таки и стал смотреть уже не на меня, а на дым, как он тяжело всплывает вверх.

– Любовник он замечательный, если ты это имеешь в виду. Но, наверное, не это. Видел Хайме? Вот кто счастливчик. Черт, что-то меня совсем развезло – что он там, мензурки перепутал?

Келли взглянул на меня мутно, было похоже, что он вправду пьян – от усталости или от тоски.

– Я бы его убил, этого Хайме. Только смысла нет.

– Почему? – я тоже порол чушь, дальше – больше, но сил не было перестать.

– Ха! Потому что тут уж ничем не поможешь. Ладно, я... болтаю всякую хрень. Не слушай, – и он стал пить свою адскую смесь, как теплое молоко, большими глотками. – Лус... Так уж вышло. Он – верный... Не то что некоторые.

– Подумаешь... – от «Стеллы» не опьянеешь, но я тоже устал до синевы в глазах, и охмелевший Келли казался мне теперь братом по несчастью. – Ну, не ангелы мы с ним... – зато ты можешь выбирать...

– Ничего ты не понимаешь, Бо Финне, – горько отвечал Келли и поднялся, сунув деньги под блюдечко. – Ты еще маленький. Жизнь... короткая. Но можно быть верным. А можно быть шлюхой. Вот я и... Ладно. До завтра... то есть, ну, ты понял. Позвони, когда напечатаешь...

Так я познакомился с Лусом. Келли сказал, что снимки пошли на ура, но больше снимать Симона не пришлось. Встречались по другим делам, потому что теперь уже Лус нашел мне кусок работы у своих знакомых – в каком-то ансамбле народной песни, где на флейте играл тот самый Хайме. Я им помогал оформлять альбом, делал постеры – было весело и немного страшно, – а ну, как они у меня на глазах истекут голосами, как кровью, – но, конечно, обошлось... Однажды я набрался нахальства и попросил у него что-нибудь почитать – и пропал совсем, потому что Лус, один Бог знает, как – писал обо мне. Короткими стихами в четыре строчки. Рассказиками в пять. Я читал и представлял его лицо – ясное и спокойное, читал и думал – эти глаза видят не то, что можно увидеть даже

из самой высокой башни, если это не сны, не трава – то как это? Откуда? Почему обо мне? Если бы меня уже тогда спросили, я бы сказал – люблю. Если бы он позвал меня – я бы не сомневался ни секунды, и мне не было страшно. Может быть, потому что я знал – он не позовет.

Потом как-то все наладилось, и я привык – сам себе удивлялся, например, девушке своей не сказал ни слова, она и не догадывалась, по-моему, какие меня одолевали страсти... А еще потом неугомонный Келли снова затащил меня в «Апельсин» – показать, в какую, по его словам, фейри влюбился Лус. Наверное, бедняге очень хотелось в это поверить – что Лус пусть и не такой уж, как он сам, но все же не верный настолько... Женщина была, правду сказать, очень красивая, может быть, тоже с ирландской кровью – рыжеволосая, отчего Келли ее феей и называл... Но я разглядел, как она на него смотрела – да так же, как и я сам. Как Келли. А Лус был спокоен, и чуточку лишь печалился, глядя на золотые волосы... Я хотел было высказать Келли все, что я насчет этого думаю, но только взглянул на него – увидел настоящее горе, какого никакими словами не отрезвишь и не разведаешь, вот и промолчал. Жизнь короткая...

Я тогда и не подозревал, насколько.

### **«Ты похож на Библию»**

...А еще ты читал много, иногда даже зла не хватало. Вот, скажем, поехали мы куда глаза глядят, к океану – вокруг, наверное, на километры ни одной живой души, ну, может, старушка какая-нибудь в холмах на огороде ковыряется, – а ты в книжку уткнулся. Лето, океан, черешня... Я косточкой в тебя стрельнул, а ты только взглянул мельком и опять в книжку... Тут меня прямо взяло: что там, говорю, у тебя такого интересного, я разве не лучше какой-то книги? Помнишь, что ты мне сказал? Что каждый человек на книгу похож. Что человека тоже можно читать. Я стал тебя подзуживать – мол, ну так вот я, весь тут, и даже без обложки, может, считаешь? И ты ведь вычитал во мне кое-что. Мы вроде и шутили оба, но я видел, что для тебя это почему-то важно. Вся эта дурацкая история, в которую я в Байресе влип, когда певицу нашу, Лусию, из комнаты вытолкали – а там военных шестеро. Не понравились они мне. Глаза такие – пустые, стеклянные. Не знаю, наглопались они чего, обкурились, или, может, ширнулись какой-нибудь хреновиной... А им мое самоуправство не понравилось. Могло и хуже обойтись – Хорхе, гитариста, они вообще просто из окна выбросили, насмерть разбился. А мне что, меня они только пугали, играли на мне в «крестики-нолики» – как пацаны, как дикари, – даже и резать толком не резали, только поцарапали раскладными своими ножичками да ноликов окурками натывали. А ты остроглазый – как раз эти следы и увидел. И знаешь, что странно? Что тебя это так... расстроило. Мне-то ничего, а вот тебя я таким еще ни разу не видел. Как будто тебя это волновало сильнее, чем даже меня. Ты разозлился, потому что какие-то неведомые уроды издевались надо мной. Никому до этого сроду дела не было, даже и мне самому – ну жив, и ладно, мог бы и погибнуть, ну, осторожнее стал, конечно, да и из Байреса, в общем-то, потому и уехал, тем более что одному из тех военных пару дней спустя в доках на голову кое-что свалилось, кирпич ведь не спрашивает, ты мастер боевых искусств или нет... Я как будто забыл – ну, не вспоминал, это уж всяко. Но тебе было не все равно. «Такое насилие – это ужасно». Ну, ужасно, и что? Было и прошло, ну, осталась парочка шрамов... Мне до того даже в голову не приходило, что это было что-то большее, чем просто неважное приключение... И ты, кажется, сильно этому удивился. Я тогда очень ясно понял, насколько ты другой. Не такой, как все. И как мало у нас общего. До мурашек проняло – так вдруг внезапно... Но я тогда все сумел как-то в шутку обратить. Сказал, что ты тоже на книгу похож. Догадаешься, говорю, на какую? На Библию. Ты удивился. А я ведь не так уж и шутил. Ты и вправду был похож на Библию, это книга неласковая,

немилая – я же ее читал, в школе ею голову морочили больше чем учебой, да и потом, бывало, сидишь где-нибудь в каталажке – делать нечего, а Библия всегда есть. Не знаю, как там тебе в твоей вере, а для меня это книга огня. Суровая, не терпящая греха, людей не терпящая, я так и сказал, что ты, наверное, жег бы грешных... нет, не грешных – неправедных, если бы была твоя воля. Сказал, что вижу в тебе этот огонь, что ты не только Подсолнух, но и сам светишь. И я уже не шутил. Такой ты был, любимый мой, грозный, как войско иудейское, как Солнце ясный и такой же жгучий. Но это теперь – только воспоминание, только память. Меньше, чем слово.

### **Больше не страна самбы...**

– Ну что, Ката, как день? – Симон задержался у моего стола, улыбнулся. – Что у тебя? Можно посмотреть?

– Да, конечно. Это арпильеры, помнишь, я тебе говорила? Коврики такие джутовые, лоскутное шитье...

Он взял несколько фотоснимков, прищурился, разглядывая яркие цвета: домики и фигурки, горы и море, как на детском рисунке.

– Они очень выразительные. Здорово, что они тебя заинтересовали. И может получиться интересный материал. Ты, наверное, знаешь, что их в Лувре выставляли, да?

– Да, в шестьдесят четвертом, я читала об этом... Но все-таки Виолетту Парра все знают, а вот, скажем, донью Хосефу Мартинес – разве только соседки...

– Ну, что для Лувра было хорошо, то и для «Консуэло» сгодится. А эта донья Хосефа – это вот ее работы?

– Угу. Собиралась сегодня к ней в поселок поехать, еще поснимать, как она за работой... а потом смотрю – а из моей «букашки» масло потекло. В мастерской сказали, завтра к обеду только сделают...

– Тогда в «Апельсин» надо вместе ехать. Мне еще надо побывать в одном месте, там дел на полчаса примерно. А потом я за тобой заеду, идет?

– Слушай, если на полчаса, может, возьмешь и меня с собой, а то голова уже гудит? Я все равно тут за полчаса и даже за час ничего не высижу, наверное, а так хоть воздухом подышу.

– Там может быть... неприятно. Но ты, конечно, можешь поехать со мной, если что – подождешь в машине.

– Конечно, подожду. Это же твоя встреча.

– Тогда пойдем, пойдем. Ты готова уже?

– Да, я... – снимки и блокнот я сунула в сумку, остальное – в ящик стола. – Вот. Все. Готова.

– Ну, пойдем.

Вот это его «там может быть неприятно» ужасно меня заинтриговало. Куда же это он собрался? В машине не утерпела:

– А что за встреча?

– Беженцы, их будут там снимать для частной телестанции. Американцы.

– Беженцы?

– Ну, не совсем... Те бразильцы, которых обменяли на посла, ты, может быть, слышала...

– Террористы, да.

– А, террористы, – тут он посмотрел на меня и бровь поднял – так красноречиво...

– Ну, можно и так сказать.

Я вспомнила Павла – каким он вернулся после тех трех дней, когда мы с мамой не знали даже толком, где он. И какие названия подбирали для тех, кто против танков

выходил с лопатами.

– Как минимум, я сама политическая беженка. А насчет террористов... ну, может, я сама на них посмотрела и послушала? Чтобы решить?

Он отвел взгляд от дороги и поглядел на меня.

– Ты храбрая, Ката, я знаю. Но там может быть очень тяжело. Ну вот, мы и приехали.

– Я пойду с тобой. Если вдруг что не так – я всегда смогу уйти ведь.

– Конечно.

Он взял свою сумку, я – сумочку и шарф. Мы вошли в парк – там была какая-то сельскохозяйственная выставка, много людей с детьми, лязгающие машины, воздушные шарики, огромная пластмассовая корова... Симон быстрым шагом прошел – мне пришлось поспевать чуть не бегом – куда-то за главную аллею, за поляны, занятые комбайнами, и мы оказались на высушенном пятачке с другой стороны летнего театра. Там стояли ржавые остовы каких-то древних автобусов, а между ними – один более-менее новый, на ходу, и еще джип с иностранными номерами... и дальше я увидела десятка полтора людей – мужчин и женщин, совсем молодых людей и постарше. Они окружали корреспондентов – один был с камерой, и у них уже шел оживленный разговор. Симон отстал – кажется, с ним заговорил кто-то из съемочной группы, а я прошла вперед, люди расступились, и я увидела, что там на траве сидит бородатый парень – почти нагишом, в одних плавках. Он слабо улыбался, а двое других, посмеиваясь и подмигивая, связывали ему руки и ноги. Все говорили по-португальски, и я понимала с пятого на десятое. «Вот так», – сказал один из них, из тех, кто связывал, – «вот так это делают». И они отошли, похлопав голого по спине. И тут же двое других просунули связанному между коленями и руками длинную палку, подняли, и он повис на ней, как большая нелепая птица. «*Пау де арара*», – сказал корреспонденту высокий молодой человек в очках, прилично одетый. – «Сорок минут», – дальше я не поняла. Связанный запрокинул голову. Кто-то из мужчин взял шланг с водой и стал поливать висящего, стараясь попасть ему в нос и в раскрытый от напряжения рот. Все засмеялись, подвешенный закашлялся. Я никак не могла понять, что происходит. Подвешенного снимали на камеру, Симон был где-то в стороне, а вокруг люди разговаривали и смеялись. У меня зашумело в ушах. «Тортурас», – вылетало из общего гомона. пытки. Вот так это делают. Дамочке плохо, сказал кто-то прокуренным голосом. В это мгновение я почувствовала, что меня слегка тянут за рукав. Наверное, Симон... но это оказалась застенчивая девушка в красной футболке и в брюках.

– Вы тоже американка? – спросила она по-английски.

– Нет, – я не стала уточнять. – Я приехала со здешним журналистом, он там... и никак не пойму... что это?

– Это наши товарищи, – сказала она. – Рассказывают американцам, тем двум, что с ними делали в ДОПС.

– В ДОПС?

– Ну да. В службе безопасности, в полиции... Это «*пау де арара*», «попугаячий насест»... там рано или поздно кровь приливает к голове, человек теряет сознание, и очень больно...

– Вам... с вами тоже так?

– Ой, нет, – сказала она и улыбнулась. – Нет. Для этого я никак не годилась. Меня подстрелили во время облавы. Пойдемте. Посидим вон там в тени, а то вы и правда бледная очень...

Пока мы шли в тень, она сказала, что ее зовут Питанга, что отец у нее американец. Что она жила в Нью-Йорке, училась там в католической школе, а потом отец умер, и они с матерью вернулись в Рио... А там уже – «так получилось», – сказала она и развела руками, и я увидела, что на правой руке у нее нет большого пальца. Мы присели под деревом, Питанга рассказывала про университет, про то, как пришлось жить в подполье, потому что среди студентов было очень много арестов. «Да разве только студентов... Они

там всех хватают, понимаете? Вон тот парень, видите, такой, в сильных очках – это брат Тито, его прямо из монастыря забрали, очень мучили... А вон тот – он адвокат. Его тоже подвешивали... Тут все разные очень – студенты, врачи, рабочие, священники. У нас там страна всеобщего равенства теперь... всех ловят, всех пытаются...» Я знала, что такое «подполье», и когда ловят всех подряд, это было у нас при немцах, – слышала от матери, я сама была слишком маленькая, чтобы помнить, а теперь вот они, подпольщики... Между тем того парня уже развязали, и теперь корреспонденты снимали его со спины, а другие мужчины показывали, как тушили сигареты о живого человека.

– У меня тоже есть такие следы, – сказала сидевшая рядом женщина с длинными волосами – она была красивая и мрачная, недоброе лицо, дерзкая усмешка. – А у Питанги шрамы от пуль. Девочка, покажи *леди*... пусть они знают.

Питанга слегка улынулась и подняла футболку. Живот у нее был исполосован грубыми рубцами от швов.

– Две пули, – сказала она, – в печень, в легкие. Рука – это тоже тогда.

– О Господи.

Я отвела глаза от Питангиного живота. К нам, оказывается, подошел оператор – это у него вырвалось «О Господи» – и парень с микрофоном, и с ними был, наконец-то, Симон.

– Добрый день всем. Ката, пойдем, не будем им мешать.

– Да, Пойдем... Конечно... Прощайте... Спасибо...

Симон крепко взял меня за руку. Где он был десять минут назад? И тут вдруг еще один бородач шагнул нам навстречу.

– Франко... – и он, кажется, хотел не то пожать руку Симону, не то обнять его. – Ты...

– Вы ошиблись.

– Извините, – пробормотал бородач. – Извините... обознался...

Все тем же быстрым шагом Симон увлекал меня к выходу из парка.

– Франко?

– Обознался человек, бывает.

– С тобой-то?

– Как раз со мной и обознался. Блондинов в Латинской Америке не так много, это верно, зато все они слегка... как бы это сказать... на одно лицо. Ты как, девочка?

Девочка. «Девочка, покажи *леди*...»

– Не очень, если честно. Скажи... зачем ты меня сюда привез?

Симон остановился у водительской дверцы «Мустанга».

– Ката, – сказал он очень серьезно. – Ты сама попросила взять тебя, если помнишь. И сама согласилась пойти посмотреть. Тебе очень плохо? Чем тебе помочь?

– Я не знаю. Подожди. Я сама не пойму... В «Апельсин» я сейчас точно не поеду, извини...

– Отвезти тебя домой?

– Нет.

– Тогда поедem ко мне.

Мотор заурчал, воздух тронул лицо. Хотелось закрыть глаза. Но я знала, что если я это сделаю, то буду видеть подвешенного, спину в рубцах от ожогов, девичью ладонь без пальца, шрамы на животе. В школе я бегала кроссы, и сейчас ощущение было такое же – сосущая пустота под ложечкой, слабость в ногах. В столице Симон снимал домик в тихом пригороде, и это было такое облегчение – не придется проходить мимо консьержа, не дай Бог, с кем-то ехать в лифте... Он помог мне выйти и все время, даже открывая дверь, держал меня за руку – пока не усадил на диван в гостиной и не пошел в кухню за стаканами.

– У меня ром... и виски еще есть немного. Что будешь?

– А, все равно. Ром так ром.

Я выпила полстакана, обожглась, захрипела.

– Ты как?

– А ты как думаешь?

– Я же не знаю, что это для тебя значит. И спрашиваю, потому что хочу знать.

– Все-то ты хочешь знать! Зачем тебе это? И... беженцы эти? И что со мной теперь? Зачем тебе это, Симон?

– Я ведь журналист, – сказал он. – Я интересуюсь тем, что происходит в этой стране.

– А я интересуюсь ковриками...

– Коврики – это очень важно. Поверь мне. Все важно, Ката – коврики, мыльные оперы, журналы для девочек. Все, что облегчает жизнь. Что делает ее выносимой.

– Потому что невыносимой ее сделать очень просто, да?

– Да.

У меня к горлу подступали слезы. Коврики... где коврики – а где это все, о Господи... как от этого ковриками защититься?

– Я думала, что... хоть немного спасусь от этого... а тут...

– От этого – от чего?

– От этого... от произвола. От насилия, когда оно везде...

Он коротко и невесело рассмеялся.

– В Южной-то Америке?

– Не где-нибудь ведь в Южной Америке. Не в Парагвае каком-нибудь... или в Гватемале... Это мирная страна, все об этом знают. Здесь все-таки демократия, гражданские у власти... а теперь понятно, что и здесь может быть такое...

– Да. Тут многие мечтают, чтобы военные пришли...

– Конечно. Потому что коммунисты, будет революция, как на Кубе, придут русские. О Господи, Симон, ну вот стоило сбежать аж в Южную Америку, чтобы снова русские, а?

– Ты их уже видела? Здесь? Русских?

– Нет, конечно... Нет. Но я тебе честно скажу – я... боюсь. Я видела, как они приходят – как к себе домой, Симон, как будто им все можно. А мы никто... и звать нас никак...

– И все-таки именно русских на танках тут нет.

– Но говорят, что со дня на день будут... Что все к тому идет...

– Ты же сама видела – здесь, если что, прекрасно и без русских справятся.

– И ты... хотел, чтобы я это... вот так знала? Усвоила? С какой стороны ждать беды?

– Ката, – сказал он тихо и жестко, – Катерина, не дай Бог тебе... узнать это так, как эти люди узнали.

Я поняла, что сейчас разрыдаюсь. Было стыдно, страшно и вполне ясно – ни от чего я не спаслась и не спасусь. Не те, так эти. Не те, так эти, и разницы никакой. Я сложилась пополам на стуле, зачем-то старалась хотя бы спрятать лицо, чтобы он не видел... но все уже было бесполезно.

Не знаю, сколько времени я выла и скулила, как щенок... Опомнилась и поняла, что все это время Симон обнимал меня – держал, не давал упасть, дышал вместе со мной. Я упиралась лицом в его согнутую руку, и рукав был весь мокрым. Я тихонько завопилась, и он тут же мягко меня отпустил.

– Я пойду... умоюсь...

– Иди. Останешься здесь, ладно? Тебе сейчас нужно поспать. Завтра будет легче. Я тебе на диване постелю и буду рядом. Если что – зови.

Я не позвала. Я умылась, легла и лежала тихо – в мутном оцепенении. Помню, что я даже злилась на него, как будто это он был виноват во всем – в русских танках, в

бразильском ужасе, в том, что не хотел от меня это скрыть, в том, что напомнил. Я была не слепая, я чувствовала, что надвигается что-то тяжелое, но Боже мой, как же не хотелось замечать это, как хотелось просто жить, радоваться, любить...

Любить!

Сквозь полуприкрытые ресницы я видела, как Симон устроился на широком подоконнике и закурил – безответная моя любовь, мой небезупречный рыцарь. До сих пор при мне он курил лишь однажды; предметом разговора тогда был Хайме... Только этого еще не доставало... Ревность, боль и страх – не самое лучшее сочетание... я снова всхлипнула. Симон оглянулся, но я уже опять лежала тихонько, и даже глаза прикрыла поплотнее. Я слышала, как он поднялся с подоконника, сделал несколько шагов, закричали доски пола, снова тишина... Прошло несколько минут, и я опять приоткрыла глаза. Симон сидел на полу в простенке между окном и дверями, вытянув одну ногу и подогнув другую, с недокуренной сигаретой в руке. На меня уже наваливался тяжелый сон от выпитого и выплаканного, но если бы ему нужна была помощь, я бы очнулась, конечно.

Но помощь ему была не нужна. Он сидел, глядя поверх меня куда-то очень далеко... очень – и лицо у него было на редкость суровое и мрачное.

## Сида

День рождения у меня в этом году так себе вышел. Он нынче на государственный праздник приходится, только мне как-то и праздновать особо нечего. Работа есть – а отчего бы ей не быть, у нас же теперь жизнь веселее с каждым днем... А что внутри тесно и снаружи страшновато, и то одного, смотришь, нет человека – как в воду канул, то другого, и все помалкивают... ну что. И не к такому привыкаешь, говорят.

Так и живем.

Но все-таки подарок я получил – письмо. Толстое. С фотографиями. Это Сэм Халин меня вспомнил, друг детства. Сэм в торговый флот подался, так что весточки от него бывают не часто, но всегда с подробностями. Вот и сейчас расписал, как протекает его новая рекламная кругосветка (да, помню, помню, что-то такое читал), а вот и снимки... Ну, это Сэм и его девушка из Глазго... Сэм со всей таможней Порт-о-Пренса, Сэм с перевязанной рукой (вскрывал кокосовый орех ножовкой!) – и громилы из береговой охраны Сан-Томе... Сэм под кружевными эвкалиптами, в обнимку с каким-то тощим парнем, черные очки сдвинуты на лоб...

Я еще удивиться толком не успел, а рука сама увеличительное стекло на столе нашарила – да, как же, рассмотри лицо, попробуй, у фотографа руки из задницы растут...

Это где? И – это... Что там на обороте написано?

Порт Хобарт какой-то, Тасмания?!

Келли?!

Не может быть!

Так я себе сказал – и оставил почту, ушел на балкон. Сигарету скурил – мало показалось, за вторую взялся – стоп! Вспомнил, даже передернуло – у него такая точно привычка была – одну за другой ...

Я ведь его похоронил, в некотором роде. Как всех, исчезнувших бесследно.

Келли...

И тут я понял, что мне, в сущности, не с кем даже перемолвиться об этом – Симон, который мне про его исчезновение рассказал, тоже сгинул – в последний раз я его после мятежа танкистов видел, когда пленку со снимками отдавал... Он мне тогда, собственно, и сказал, что к Келли опоздал, видимо, – что квартира разгромлена, и похоже, что хозяин ее покинул недобровольно... А больше – никого... Или, наоборот, полгорода – всех его

одноразовых парней и подруг... Да они и не помнят такого!

Я и так еще посмотрел на снимок, и эдак. У меня в рабочих альбомах были фотографии и самого Келли – конечно, хорошие, не чета этому, но человек под эвкалиптами был очень, очень похож. Смотрел в камеру почти так же, как глядел, бывало, в мою – ухмыляясь только ртом, а глаза – будто в прицел глядят...

Как это может быть?

И зачем?

И что мне теперь с этим делать?

Я еще раз взял письмо Сэма, дочитал до конца: «А в Хобарте мы в клуб зашли, “Сида” называется, а там хозяин – вот этот чувак – как узнал, откуда я, просил знакомому записочку передать, я взял, а потом смотрю – а там адрес твой. Тесен мир».

Тесен, конечно. Я глубоко вздохнул. Записочка, точно, нашлась внутри: «Привет, Бо, это я, Шонесси. Слышал ли что-нибудь о Л.? Будешь в наших краях – заходи. К.».

И адрес.

Сида. Вот оно как. В подоконник застучал дождь, настроение стало – совсем никуда. Надо же – Келли объявился... Пока он был жив – то есть пока он тут был жив... вечно мы с ним были немного на взводе – то он мне должен, то я ему, то его очередная любовь на меня запала, то я, неправильный, не западаю на каких-то исключительных, по его мнению, особ... Всегда вокруг него – будто озоном потягивало, и всегда какая-то адова кутерьма, кавардак, все не слава Богу.

А ведь я один, наверное, знаю, что к чему, и что за Сида такая... Только я все это время думал, что она ему правду сказала, а выходит, что ошиблась...

А было так: пришел я к нему должок забрать, позвонил, а дверь не заперта и даже вроде приоткрыта... захожу, а хозяин навстречу – в чем мать родила. Я чуть на пол не сел.

– Господи, Келли...

– Ну? Что? Ты проходи, только поберегись, не вляпайся. Извини, у меня сегодня тут бардак. Дверь не закрывай, проветрить хочу, дышать нечем.

Надо было смыться, но я так и застрял в прихожей. Шонесси тогда с какой-то художницей жил, с той, что городские стены расписывают – и в квартире у него страшно разило сейчас этой краской. И на двери было свежее синее пятно. И везде валялись вещи, тоже живописно залитые красками – одежда, обувь. На потолке и стенах растопырились весьма живописные кляксы. А Келли уже маячил задницей в гостиной.

– Садись. Кофе попьем, того-сего.

– Ничего я не буду. Я вообще за деньгами пришел.

– Не повезло тебе. Видишь, не то что без денег – без штанов остался.

– Да уж, вижу. Я пойду.

– Подожди. Посиди со мной. Недолго. Сейчас Дихи приедет, привезет...

– Что?

– Шмотки. Это... Кармен натворила. Сядь. Будь человеком. Я тебя не съем. А одному тут киснуть...

– А вдвоем – что? Веселее?

– Ну да. Ты сядешь, или тебя усаживать?

Я сел. Келли тоже плюхнулся в кресло – и хорошо сделал. Так я, по крайней мере, ничего особенного не видел. До чего все-таки унылое зрелище – голый человек... даже если он любезно скалится и предлагает кофе.

– Я тебе все расскажу. Я просто лопну, если не расскажу, – он глотал кофе пополам с дымом, поперхнулся, закашлялся. – Кармен-то моя совсем рехнулась. Орала тут на меня, скандалила... Одежду вот мою всю перепортила, и смотри, художеств мне каких навела... Что я хозяйке-то скажу?

– Всю? У тебя что – даже полотенца нет?

– Есть! – радостно воскликнул Келли, – в ванной осталось, вот такое! Только прикрыть... и пальцем придерживать. Хорошо, что в доме тепло...

Я промолчал. Келли допил кофе и закинул ногу на ногу. Глаза у него блестели, уголок рта подергивался – похоже, он не то был напуган, не то перебрал чего-то...

– Зачем это она?

– Да так, я тут встречу кое с кем назначил, а она уперлась – не ходи и все! Время, кричит, мутное, и дружки у тебя странные, и вообще орала так, будто я ей законный муж... Ну и вот... другого способа не нашла помешать. Наши ирландские женщины – это, конечно, дьяволы в юбке, но и ваши жару дают.

– Ты наших женщин почему зря не обижай. На себя посмотри, шут гороховый.

– Ну, я – мне положено, – почти с гордостью отвечал Келли, – ирландцы все немного с прибабахом.

– Почему?

– Так остров же. У нас там все время – ветер, вот и надувает в голову всякое. Ну и вода еще – ее вокруг много, а пить сырую нельзя, и вся Эрин хлещет виски.

– Мда... ну как же это ты без штанов-то оказался?

– Да мы ругались-ругались, я в душ пошел, а она мои шмотки сгребла, какие порвала, половину красками своими залила – вон, в углу лежит... а какие в окно выкинула... Обувь в мусоропровод спустила... Орала так, что чуть потолок не рухнул, а теперь и вовсе вон умотала куда-то. Да я не сержусь на нее, это она как лучше хотела, конечно... Но ничего, сейчас младший-то придет, принесет чего-нибудь, я ему уже позвонил...

Младший брат у Шонесси был очень странный. Я его видел пару раз – чистое дитя эльфов, писаный красавец, волосы золотистые, глаза не просто синие, а какие-то даже с фиалковым оттенком, но что-то с ним было не так немного – кажется, не большого ума юноша. Жил он в какой-то общине хиппи и на белый свет показывался нечасто.

– А ты уверен, что он тебя... эээ... правильно понял?

– Не знаю, – сказал Келли, – но надеюсь, что хоть как-то понял...

– Странный он у тебя, совсем вы не похожи, я бы не подумал даже, что вы родные братья.

– Сводные. У нас отцы разные, – объяснил Келли, пихая окурок в пепельницу и тут же закуривая следующую, как будто глотал не дым, а кислород. – Это ты еще старшего не видел, Пэдди – он у нас моряк, здоровенный, что твой шкаф, кулачищи как арбузы, чтоб ему... У Пэдди батюшка был фермер. И мамочка Роуз жила с ним в такой деревне... на хуторе, до войны еще. Звали мужика Галлахер, или там Даффи, или Риггс – я уж не знаю. Ну да. Когда Пэдди лет пять было, фермер на тракторе по пьяному делу в болото въехал – и не выехал. Утоп. А тут война, в общем, весь этот срач... Матушка Пэдди подхватила и в метрополию, на заводе работала в Кардиффе, там и платили, и паек – ну, все не то, что в деревне надрываться. И вот там я не знаю, что было, вообще, дело темное. Я ведь отца своего совсем не помню. Матушка говорила, что американец был из конвоя, но тоже из наших, из ирландских. В общем, они вроде даже как бы поженились, но война дело такое. Мать говорила, что он погиб, но я думаю, что, может, просто уехал домой, в Штаты. Война, в общем, кончилась, а году в сорок шестом, что ли, всех ирландцев обратно попросили, не нужны уже мы были метрополии, ха... Мне, значит, года два было, и матушка опять вернулась в Эрин, только не в деревню. А в городе осела уже, в Слайго. Ну как город... не Кардифф, понятное дело, но все же и не хутор. И в третий раз замуж вышла. Вот этот мужик, Майки... Дихин отец – он, конечно, был тот еще тип. Учитель он был начальных классов, и такой «*Эйрин го бра*»<sup>4</sup>... в общем, из нас троих Дихи у нас настоящий гэлах, он и по-английски-то в семье принципиально не говорит. Этот наш

---

<sup>4</sup> «Ирландия вовеки», ирландский патриотический лозунг.

третий папаша даже с Пэдди задираться пытался, чтобы тот, мол, на языке проклятых оккупантов не изъяснялся, но с братцем, в общем, такие штуки тогда уже не проходили, да... А у нас же там до Ольстера рукой подать, в общем, недолго матушка замужем была. Поэтому нас у нее трое, а отцов – ни одного. А Дихи...

Зазвенел телефон в прихожей. Келли вскочил (я быстро отвел глаза) и снял трубку. Я ни слова не понимал из его быстрой речи.

– *Амадан*, – прошептал он, возвращаясь на место, – ха... бедный мальчик.

– Что?

– Это Дихи. *Амадан*...

– То есть?

– Дурачок. Он тут заблудился... Вот же Господь привел мне родню... Подожди, пока он приедет, сделай милость, я что-то сегодня не могу один совсем...

Я хотел было все-таки уйти, потому что чувствовал себя очень неудобно, и тут пришел Дихи. Дверь на лестницу была открыта, но он нажал кнопку звонка и держал, пока Келли к нему не вышел. В прихожей бурно заговорили по-гэльски, сын ирландского патриота влетел в гостиную, швырнул холщовую сумку чуть ли не в лицо брату. Келли полуохапкой схватил вещи, свободной рукой отвесил младшему подзатыльник и умчался в спальню.

Мальчик что-то буркнул и остался стоять столбом.

Я вежливо улыбнулся – кто его разберет, может, это ругательство...

Минут пять прошло в отчаянной скуке. Все время разглядывать друг друга – неприлично, но Дихи, кажется, меня не очень-то замечал. Он даже не пошевелился, пока Келли не крикнул что-то из спальни. Юный ангел встрепенулся и сердито отвечал. Келли прорычал совсем уже яростно и внятно послал младшего на хер. Дихи прикусил губу, дернулся было к выходу, но я – почти невзначай – вытянул ноги поперек проема.

Келли показался из спальни.

Ангел не иначе как по всей колонии побирался. В одной руке Келли держал ослепительные оранжевые шлепанцы, а другой безуспешно пытался застегнуть молнию расклешенных штанов ядовито-зеленого цвета. Штаны были ему маловаты. Гавайская рубашечка с русалками и морями довершала зрелище. У меня даже дух захватило.

– Что я, по-твоему, блядища подзаборная? – накинулся он на брата. Гэльский получил отставку. – Да я и слов-то не найду, чертова мать... Куда я в таком виде? Что мне там – яйцами звенеть, если выпадут? А! Бо Финне, погляди! Келли-мудозвон! Клоун!!! Я в приличное место должен идти, а ты...

Младший Шонесси не проронил ни слова, только зыркал угрюмо из-под соболиных бровей.

– Да девушку-то не строй – все понимаешь, я знаю, но вот что ты меня перед людьми позоришь, – Келли драматически простер руку... я не выдержал и заржал.

Дихи чуть не плакал. Келли выпучил глаза на меня... и тоже захохотал, согнулся пополам, упал на диванчик. У него еще и нервное это было, думаю – он все смеялся, смеялся, и вдруг перестал.

Богом клянусь, он изменился в лице – смотрел мимо меня, и не на брата, а куда-то в белый свет. Смотрел и как-то сползал по дивану на бок.

– Что с ним?

Дихи наклонился, заглянул в остановившиеся глаза. Что-то произнес, по тону я догадался: «Ничего страшного».

Келли всхлипнул и зажмурился. Его качнуло. Я невольно сунулся поддержать, а Дихи в этот момент, не прощаясь, выскользнул в прихожую и смылся.

Но я на Дихи не смотрел. Келли висел у меня на плече и ерзал ногами в дурацких шлепанцах, пытаясь сесть поровнее. Кажется, он что-то пытался сказать.

– Что, Келли?

– Сиди... Сиди...

– Да что такое?

Келли оттолкнул меня, чуть не на животе дотянулся до столика – но чашка из-под кофе была пустая. Я сходил на кухню и принес ему воды. Келли напился и посмотрел на меня уже почти осмысленно.

– Эй Келли, ты как?

– Да ну... ничего уже... Бо Финне, я ведь Сиду видел.

– Кого?

– Деву... с той стороны. Черт, что же она так на ту похожа... Рыжая, платье синее на ней такое... А лица не помню – ее или нет.

Я не понимал, о чем и о ком он говорит. А он продолжал:

– Вон в том углу она... как из стены вышла... посмотрела на меня и говорит: ох, Келли, страшной смертью ты погибнешь. Спасайся говорит, только радости тебе не будет... Господи, что же это, я же и не ел ничего такого, и не курил, и не нюхал...

Он и так был тощий, а тут вовсе осунулся прямо на глазах – будто и в самом деле привидение увидел. Я помялся еще с минуту, но он вроде меня уже и не замечал, сидел и бормотал: «страшной смертью... радости не будет...»

Ну, я и ушел.

А он, выходит, все-таки спасся.

### **Рыжеволосая**

...вот скажи, почему я все время с тобой разговариваю, а? Не могу не разговаривать, имя твое по сто раз на дню вспоминаю, не крещеное, а то, что я тебе дал, когда понял это про тебя, что ты цветок-солнце, мой Лус.

Хотя нет, не мой же.

Больно это все, очень.

Верил бы в бога, так точно считал бы, что это мне за мои грехи, а так – не знаю, за что. То есть за что я тебя-то полюбил – с этим как раз все ясно: нельзя было тебя такого не увидеть, не разглядеть, а раз увидел – не захотеть, а раз захотел – не подойти... Я ведь бесстыжий, ты сам так говорил. Ну, я и не стал долго рассусоливать, сразу спросил – сладится или нет. До сих пор понять не могу – как ты согласился, почему? Не красотой же я тебя сразил своей невольной – какая там красота... И не танцами – тебе как раз все равно было, что я там танцую, ты и не видел никогда... Но ты пошел со мной, любил меня... Что такого ты во мне нашел, чего я и сам о себе не знаю? Ты же не такой, как я, ты слишком другой был, зачем же ты тогда согласился на это все, сердце мое?

Не должен был бы по всему – но вот ведь. А я потом так и не утешился. С кем потом, как говорится, ноги не сплетал – все не то. И не в том даже дело, как один для другого в любви старается... Просто раньше я и не думал, что может быть что-то еще, кроме тела и желания. Как будто оно в мне было, это что-то, а я и понятия не имел... Как будто я через тебя до этого невидимого дотронулся, но что с этим делать – не знал. И никто не знал, кроме тебя. Такая от этого всего тоска, знаешь... Никогда раньше со мной такого не было. Да я ведь с самого начала понимал, что ненадолго, и каждый раз думал: ну, пусть не в последний... Но потому, наверное, и расстались спокойно с виду – что я понимал, ненадолго это все. Разошлись, а сердце-то болит. Не хватает ему тебя, твоего ясного света.

И кому он, тот свет достался – это надо же, китайчонку тому, черному как ночь. Ну ладно бы, я бы еще понял, что ты от этого мрачного типа ко мне сбежал, но почему вернулся от меня – к нему? А мне только приятелем и был. Другом, так ты сам сказал, когда прощались, но знаешь, Лус, после того как любил тебя... вся эта дружба – это как

морскую воду пить, когда от жажды подышаешь: глоток сделал, и все, сил нет больше, а горло все так же жжет... А совсем тебя не видеть, отказаться – не мог я, слаб оказался. Может, лучше было бы, если бы ты сам меня бросил и не встречался уже никогда, но тогда это был бы не ты. Потому что ты ведь верный, суть твоя в этом. В верности. И ему, да и мне, если уж трезво рассуждать-то.

А только я не могу трезво. Завидую я этому *чинито*. Как увидел вас вместе – ну, может, я и легкомысленный придурок, но ведь не дурак, я сразу понял, что между вами не просто связь, общие какие-нибудь там дела, а слово, обещание. А твое слово – оно же нерушимое. Правда, грешен, однажды я все-таки подумал, что ты его на женщину променял. Господи боже мой, Лус, ну каждый же по себе судит... Да и недолго я так думал, правду сказать. Хотя пацану тому, фотографу, тоже так сказал – ну, грешен же, говорю. Потому что это была неправда. Хотелось мне очень, чтобы так было, ан нет. Поглядел я на нее внимательно и понял – сестра по несчастью. Как и мне, как и бедолаге Бо – ты ей тоже только друг верный, но не любовник.

Сестра, да... Я потому с нею и заговорил. Ох, если б только заговорил... Есть поверье, что с рыжими любиться – на горе, но тут я, видать, стал ей на горе, хоть и не рыжий.

Ну вот, вышел я тогда к ней из угла своего, смотрю – а она чуть не плачет. И тут я подумал – один человек нас обидел, один нашу жизнь заедает – почему бы нам друг друга не утешить? Я ведь, когда захочу, сладкий бываю, что твой мед, а огня мне всегда не занимать было. Ничего я ей о том, конечно, не сказал, просто улыбнулся, дал понять, что я не опасный, что только и хочу – согреть ее... А она, пташка моя, сидела там одна – такая бледная, и платье синее, а волосы – как золото. Губы у нее распухли, и внизу, знаешь, такая полоска отпечаталась – видно, кусала, чтобы только не заплакать. Подумал: целовать буду нежно, чтобы боли ей не причинить. А сговорились мы с нею быстро, она отважная была, не боялась, хотя чего там было меня бояться, я бы ее ни за что не обидел. Проводишь меня? – спросила в конце концов.

Конечно!

И, – почти не помедлив – останешься?

С тобой, говорю – радость моя, останусь...

И остался. Пока мы с нею шли и ехали, ничего такого я себе не позволял. Только когда она уже ключи стала в сумочке искать, немного прижал к двери, чтобы голову закружить – попалась, милая... Она с каблучков оступилась, ключом еле в замок попала...

В прихожей я тенью держался – трясоти-то ее трясло, кто бы решил – оголодала, бедная, но я в глаза смотрел – нет, эти – темные, без жара, будто ей не себя тешить, а воевать. Оттого, что я понимал – с кем, а она – ничего не знала, меня самого будто огненным шнуром по позвоночнику протягивало – стерпеть бы!

И вот стоит она ко мне спиной, нагая, над поясницей еще капельки воды, – и волосы расчесывает, а они даже в потемках отсвечивают огнем...

И я первым делом пустил их через руки, а там все просто – запутался, будто нечаянно, глаза ей прикрыл – ресницы мягкие, как бабочки, кончиками пальцев – по губам, по шее – не уйти тебе, чужая радость, а теперь – моя, раз ты не захотел такую красоту...

А она уже вся – как бубен, и вот-вот ее прихватит, все-таки долго выбирала, видать, с кем его наказывать...

Она, конечно, на ногах не удержалась, вот и славно, я ее, как шелк живой, бережно на постель сложил и себе воли дал немного. А она оттрепетала, отдышалась, говорит – ты что это делаешь? Отвечаю – массаж, лежи, хорошо ведь? Ах, какой массаж, ты что же... И я ей объяснил ласково, что меня и так-то еще на пару раз хватит, а если она постарается, то и еще на пару, и как тебе несколько часов бессонницы, моя радость?

Тут она оттаяла, наконец – эндорфины, как, помнится, ученая хозяйюшка рассказывала, объясняя, почему не больно... и все пошло у нас замечательно. Но я в

мыслях – ему, то и дело: ну, смотри, какая она, и как мы с ней, и как нам вдвоем, ты бы мог нас обоих иметь, да все со своей любовью возвышенной, – так вот, смотри!

Потом она задремала... точно, через пару часов. Я тоже провалился слегка – не помешает, для восстановления сил, потому что еще оставалось кое-что в программе.

Мы с нею прямо как образцовые любовники начали – в полусне, она ли меня приласкала нечаянно, или я руки не отнял... не помню, да и не суть. И она была теперь сама по себе сладка мне, и я уже ни о чем таком не думал, я только ее ритм ловил, усиливал, возвращал... я бы мог и не уйти от такой – пока не погонит сама, и придумал бы, как сделать, чтобы не погнала... но тут стало обоим горячо, я ее видел уже только красным шаром, огнем, и вдруг из этого огня она не закричала, не выдохом изошла – а именем! Она тебя звала по имени – шепотом, громче, в голос, – ведьма, а в судороге билась подо мной... и ты уже – тут как тут, за моей спиной, руки твои – на моих плечах, вся тяжесть, весь жар твой, но руки, руки! Я ошибиться не мог, я кольцо твое кожей узнал – еще бы нет! – ты ничего другого из украшений не носил, только крестик да это кольцо с чернью, с такими узорами волной...

А говорят, страх не позволяет...

Ерунду говорят.

Только потом – так... Холодно, и тошнота... И я терпел, подкатывало – ее запах, мой запах, лимоном еще тянуло от лампы... Не знаю, как она – может быть, тоже... Но я только одним защититься мог – на спину перекатился, чтобы видеть – никого нет, кроме нас, а то была мара, насланное, совесть – какая там у меня совесть? – ну, уж не знаю что... а плечо левое просто огнем пекло, и ссадина там была настоящая, но от того кольца ли... какая разница? Мне хватило и того, что я знал – так было.

Долго не вытерпел, поглядел на нее – лица не видно, отвернулась, но не спит.

И что бы мне промолчать? Так нет: что это ты, говорю, что же – со мной... а сама другого зовешь?

Она вскинулась, обернулась, в глазах одни зрачки:

– А ты?! Ты кого звал?

Я и не подумал, что имя-то это – Лус – она наверняка знает, и все поняла, конечно...

– Не твое дело, – отвечаю, и такой стыд, а слова сами вылетают: – А вот не твое дело, шлюха!

Ну, и что? Может, она мне в лицо вцепилась? Или оплеух надавала, или лягнула, или еще как-нибудь?

Нет. Сглотнула только и велела убираться к черту – чтобы я тебя больше не видела!

Надо думать, мутило ее от меня не на шутку – поднялась тяжело, но простыню так потянула – я чуть на пол не слетел. Собрала постель в охапку – и в ванную.

Мне там ловить было уже нечего – все, что мог сказать и сделать больного, кривого – все успел.

Прощения бы попросил – сейчас. А тогда – ни слова ей не сказал.

А что потом с нею стало – не знаю.

## Бегство

...Что-то было там, шагах в ста впереди, у самой арки моста. Никакого движения, тихо – до звона в ушах. Но солдат Мосс замер, повел носом – деловито, как пес.

– Стой! – и шагнул вперед, вынимая нож.

Я присела на ржавый теплый рельс. Зачем он это? Не хватало только, чтобы под мостом кто-нибудь сидел в засаде. Хотя – какие тут засады, ясно, что вокруг больше

никого нет, даже запах бензина и шпальной пропитки выветрился. Никто тут не проезжал уже давно, а пешие Моссу не страшны. И все-таки не удержалась: встала. В высокой траве что-то шевелилось, показалась спина, обтянутая серо-рыжим, тут же пропала, слышался тяжелый шорох. И Мосс, раздвигая граненые стебли, пошел ко мне.

– Что там?

– Мертвец. Пойдем.

– Что? Ты его...

Солдат спрятал нож, поправил заспинный мешок.

– А, ну тебя... Дура и есть. Столкнули сверху. Или сам бросился. Вперед!

Я двинулась за ним, закусив губу. Ужасно – идти по заросшим шпалам в туфлях на шпильках. Каблуки я давно отломала, но все равно больно... Чтоб не думать о ногах, посмотрела туда, где лежал убранный с дороги труп. Ничего особенного – из травы видна была лишь прядь светлых незапыленных волос да узкопалая кисть.

– Мосс, а кто это?

– Не знаю. Документов нет. Свежий еще, вот что нехорошо...

Я посмотрела вверх. У меня глазомер никудышный, да все равно – высоко.

– А он точно мертвый?.. Ты уверен?

– Не такой свежий. Уверен.

– Я просто так... на всякий случай. Когда мы доберемся?

– Заночевать придется.

– Где?

– Да где получится.

Что тут скажешь? Под мостом Мосс задержался и бросил мне мешок.

– Держи.

– Это что?

– Переоденься.

– Это... твоё?

– Его, – Мосс недвусмысленно ткнул пальцем в сторону мертвеца.

– Ты... с ума сошел? Чтобы я это надела?

– Как хочешь. Имей в виду, я договорился тебя проводить. А тащить – найди другого. Самому мне до поселка шесть часов еще ходу, с тобой – хорошо, если завтра к полудню дойдем. А не переобуешься – упадешь. И платьице это твоё... Ну, как, будешь ломаться или одеваться?

– Тьфу, Мосс, а если этот... если у него болезнь какая-нибудь? Или вши?

Солдат покрутил пальцем у виска.

– Шея у него сломана! – сердито сказал он. – А это все при нем в мешке было.

Вырядилась как на праздник, за километр видать...

– Помолчи, – сказала я. – И отвернись, хорошо?

– Не видал я вас...

Но все же отвернулся, сел на рельс, закурил.

– Дай нож.

– А?

– Нож, говорю, дай.

Он протянул мне нож рукоятью вперед. Тяжелый, лезвие широкое, – таким разве что врагу промеж глаз... Платье от бедра подалось легко. Хорошее было платье, новое... К черту... Я заправила остатки в джинсы, потертые на зад, на коленках прожженные какими-то химикалиями. Завязала потуже шнурки конверсов. Ночью, пожалуй, будет прохладно – надела и свитер, и куртку. В рукав оказался засунут платок. Просто черный, без узоров – я и голову повязала.

Мосс оглянулся и пригладил рыжие усы.

– Ну, на человека похожа. А то в таком, – он поднял лоскуты бывшего платья, – ни сесть, ни лечь.

Ложиться я не собиралась, но об этом лучше было помолчать. Хозяйственный Мосс сложил тряпки в мешок, туда же запихал бескаблучные туфли, бормоча: «Следов не оставлять...», и поднялся:

– Два часа еще идем.

Я особенно не интересовалась, как Мосс разжигал костер, таскал какие-то ветки, что-то втыкал и расставлял. Опустилась прямо на землю, а подняться уже не могла: мышцы свело. Глаза закрывались.

– Поешь.

– М-м... Не хочу.

На это Мосс пробурчал что-то презрительное. Пахло от костра жареным, но это ведь наверняка какая-нибудь подножная гадость: хорошо, если ежик. Ведь Мосс и гадюку съест запросто, или что им еще там положено по науке выживания. А я потерплю. Завтра накормят. Если, конечно, в этом загадочном поселке вообще кто-нибудь живет.

– Подвинься.

Я не пошевелилась. Мосс подхватил меня за плечи и куда-то перенес. Щеки жгло, сквозь опущенные веки пробивался неровный красный свет.

– Вот возня... – он устраивал меня вблизи костра, – да обопрись ты, дура! Совсем отключилась...

Я и не спала, и не бодрствовала: плечом ощутила, как Мосс устраивается рядом; рука его протянулась, что-то поправляя, подтыкая. Потом стало тихо.

Роса пропитала платок, уголок свесился мне прямо в рот. Я очнулась, с трудом повернула шею: Мосс спал рядом, опершись на ствол дерева. Нас обоих обертывало одно одеяло, и что-то угловатое угадывалось там, втыкаясь заодно мне в бедро. Я двинула ногой, и Мосс тут же открыл глаза.

– Тихо, – сказал он. – Не дергайся.

И потащил автомат из-под одеяла. Черт! Всю ночь этот вояка проспал, положив палец на спуск!

– Береженого Бог бережет, – он чем-то щелкнул. – А ты что, испугалась?

Я молча развязала платок, стряхнула росу.

– Выспалась хорошо? А думала, небось, что я к тебе полезу?

– Просто удивительно, что не полез... – я отвечала сквозь зубы, пытаюсь выпрямить и снова согнуть совершенно окоченевшие ноги.

– Если б я полез, – Мосс нагнулся над костром, – то из кустов бы кто-нибудь... непременно. Это как закон. А когда ты с голым задом... Что?

– Смешно: с голым задом.

– Был бы на тебе... посмеялась бы – почти сердито буркнул Мосс. – Чай ты пьешь?

– Давай.

Я неловко перехватывала горячую кружку. Мосс обглаживал какую-то кость из вчерашней еды.

– Мосс... а как же ты здесь? Ведь армия в городе...

Вчера мы об этом не говорили. Он облизал пальцы:

– В городе. Да я сам себе командир. Для здоровья так полезнее.

– А... Симона ты давно знаешь?

– Тебе какая разница?

– Что ты за человек, Мосс! Слова нельзя сказать...

– Просто не твое дело. Допила?

– Да. Забирай свою кружку...

– А спасибо?

– Пребольшое тебе...

Он сполоснул кружку, упаковал вещи. Покопался на меня:

– Гляжу, ты язва. Ну, брат он мне, скажем. Довольна?

Я пожала плечами. Брат? Разве что названный... Симон меня ему поручил – как брату ли, как другу, либо же как обязанному – рыжий солдат, чужой и страшный на той страшной вечеринке, был недоволен, однако подчинился. И вот...

– Ну, подъем! Не засиживаться.

\*\*\*

Поселок показался внизу, залитый маревом.

– Тихо, – сказал Мосс. – Куда рванула?

Он поймал меня за пояс.

– Пригнись! Тьфу, что ты вся растопырилась, ты прижмись ровнее, – мы лежали в траве на обочине, вокруг на мили ни живой души – так мне казалось. Но у Мосса было, видимо, другое мнение. – И голову пригни!

Я, как могла, распласталась по рыжей земле... Тонкий стебелек полыни попал в рот, я невзначай прикусила – и весь мир стал горьким по-настоящему. Мосс долго вглядывался, – что там было видно без бинокля? Потом сказал: «Можно».

Одна только черная коза, привязанная к тополи, встретила нас на поселковой улице. Солдат заглянул через один забор, через другой, выругался тихонько.

– Никого нет?

Он не ответил. Толкнул калитку, и мы вошли в сад.

– Уна!

Солнце жгло затылок. Мосс крикнул еще раз и сбросил автомат с плеча. Пошел к двери, загородив рукою мне дорогу. Коза с той стороны подошла к забору и замякала противно. Тут дверь все-таки распахнулась.

– Моисей, ты? – спросила особа, вставшая на пороге. На ней был серый брючный костюм, вовсе не деревенский, с каким-то ярким пятном на плече. – Симон с тобой?

– Нет, – угрюмо отвечал Мосс. – Велел вот... привести.

Все это вдруг показалось мне невыносимым. Голова кружилась. Пятно ползло, – это оказался рыжий котенок, он нагло мяукал... на лице Уны было страдание.

– Входите, – стеклянным голосом велела она. Отступила в сторону, и темная прохлада дома поманила меня – выше сил. Я на что-то опустилась, сквозь звон в ушах донеслось:

– Если вдруг – скажи... Нет уж. Ладно. Прощай, Моисей.

– Да что... увидимся еще. Я скоро вернусь за ней.

– С Богом. Ступай.

Потом Уна возилась в прихожей, шаркала веником, цыкала на кота. Вошла, неся глиняные кружки.

– Молоко. Пейте.

– Спасибо.

У нее в кружке, может, и что другое было – осушила она ее залпом, уставилась в окно.

Господи, поплакать, что ли, – пока не видит эта баба в шелковом костюмчике...

– Где мы? Что это за место?

Уна обернулась, смерила меня равнодушным взглядом и снова уставилась в окно.

– Очень глупо...

– Что – глупо?

– Смотреть на меня так, будто я виновата.

– Дорогая вы... – тут снова на меня взглянула и переменяла немного интонацию, будто хотела сказать: «дорогая вы штучка...», – дорогая моя, все дело в том, что Мосс должен был привести его! Его, а не вас. Понимаете вы, что это значит?

– Понимаю, – я уже была злая как черт, потому что Уна говорила чистую правду. – Но зачем-то же он так поступил!

Она не ответила, отцепила от рукава котенка, спустила на пол. А я подумала о том, что маячило в уме все эти часы: он ведь меня предупредил. Два месяца я носила с собой везде паспорт и немного долларов – потому что после мятежа танкистов он сказал, что нужно быть готовой в любой момент бежать. Мне не хотелось это понимать, не хотелось знать и даже думать я об этом, казалось, не могла – куда бежать? Как? Где может быть для меня место? Кроме того, я полагала, что одного бегства в жизни мне хватит – но Симон, как всегда, оказался прав.

Как всегда.

И вот я снова в бегах, а он – он остался там.

«Вы не стройте ему глазки, милая, – сказала Серена где-то через пару недель после начала моей работы, – наш шеф-то – *гей*». Я еще запомнила, что она употребила именно это слово, английское, вежливое... Я тогда очень удивилась. Не то чтобы я до этого знала геев или хотя бы видела их, но представление-то было, и Симон в него никак не укладывался. В нем не было ничего против природы. Вопреки очевидности, и здравому смыслу, и тому, как это касалось меня лично. Может быть, я никогда до этого не встречала мужчины с таким чувством собственного достоинства. Обычно ведь демонстрируется совсем другое... А тут – обаяние, ясное, как летний воздух. Чистота. Строгость. Видит Бог, как я старалась все увязать и поставить на свои места. А он просто был – ежедневно. К нему нельзя было прикоснуться как бы ненароком, он не поддерживал этой всеобщей манеры чмокать при встрече в щечку. Иногда он целовал мне руку. Смейтесь, да! А я готова была плакать, потому что лишь кончиков пальцев он касался губами. И он не признавал, – умел не признавать, – моих по этому поводу переживаний. Другом, помощником, выручателем из иногда не очень приятных положений он готов был быть. Но не любовником. Было время, когда это сводило меня с ума. А он заметил, конечно, – было ли что-то, чего он не замечал? – и случился у нас откровенный разговор... О природе и выборе, об одиночестве и дружбе, такой, какой сейчас вспоминать было больно, потому что там была тишина, и музыка, и хорошая еда, и, несмотря на всю мою печаль – было ощущение покоя, того, что вся жизнь впереди. Помню, что признавала его правоту и злилась, как всегда, и сказала, мол, хорошо, все поняла, заведу себе парня, красавца и умницу – а ты возьмешь да и влюбишься в него? А он ответил – очень серьезно – чтобы я не волновалась. «Я абсолютно надежен», – сказал он, и это было не похвальбой, а правдой.

\*\*\*

Хозяйка со мной особо не церемонилась. Как только Мосс ушел и молоко было выпито, она сунула мне в руки полотьник, и до заката я проторчала на грядках, рыхля, поливая и таская выполотую траву козе. Чем в это время занималась Уна – я не знала, изредка она являлась, оглядывала сделанное и исчезала, не говоря ни слова.

Ужинали тоже в молчании. Мало того, что поперек горла вставал кислый творог, так еще и не на чем было успокоиться сердцу. Тишина – как в гробу, свет от свечи неровный, хозяйка жутковатая... Уна смотрела мимо меня, я все больше – в свою миску. Потом хозяйка собрала посуду и вышла в кухню. Рыжий котенок вспрыгнул на стол, обнюхал доски, мою руку. Лизнул бы, протянул лапку... Но звереныш не собирался разделять мои внутренние движения, сел на порядочном расстоянии. Свеча его не пугала, пламя в золотых глазах дрожало бабочкой. Даже кошке нет до меня дела. Я поднялась, тихонько прошла в сених, спустилась с крыльца.

Господи, я-то и забыла, что ночью темно. То есть – ничего не видно буквально, и даже звезды не сразу проявились в глухой черноте наверху. Меня разобрал нервный

смешок. Куда собралась? Далеко я отсюда уйду... Ну, что же мне делать, что делать?!

Ах, нет, это только ветер откуда-то из сада... Не знаю, что там у нее росло, в том углу, но запах... Я осторожно двинулась: не то, это укроп, а это... тьфу, и не знаю, гадость какая-то... Я потеряла направление и стояла в незнакомом огороде, приюхиваясь. И ведь видела днем, кажется, но тут поди разберись! Тут снова потянуло – по правой щеке. И я стала пробираться направо, давя какие-то хрусткие плети, и – вот они, такие холодные даже на ощупь, ребристые стебли, узкие волнистые листья... Вот это не обманет и не уйдет, я сорвала веточку и, как глупый кролик, примяла и разжевала мятный листок.

Да, единственное, черт возьми, что примирило меня с этим дурацким миром: я сидела на корточках и жевала мяту. Зеленое, горькое мое солнце, – пусть и в темноте, пусть хоть немного, но все-таки не сухая земля у самого лица, пропахшая полынью.

– Что это вы делаете?

Я качнулась и села прямо на задницу. Черт бы ее побрал... эта сухопарая ведьма стояла надо мной, простирая руку.

– Что там у вас? Дайте мне.

Я повиновалась. Именно: я не собиралась отдавать ей мяту, и все-таки отдала... Она понюхала и сказала:

– Пойдемте в дом.

И опять я не нашлась, что возразить. Но она не вошла в дом. Села на крыльце, и я, не желая торчать столбом, тоже опустилась на ступеньку. Уна повертела веточку и вздохнула:

– Курите?

– Нет...

– Принимаете наркотики?

– Да что такое?! Что вы... Отдайте!

Она легко забросила мою бедную мяту подальше.

– Вот. Как вас легко вывести из себя... В общем, это правильно, вы как моя кошка, ищите свою траву. Когда больше не к чему прислониться. Видите, как легко отнять даже это? Причем, именно это легче всего... Вы пойдите, вернитесь сейчас туда. Ничего не будет. Противная горькая трава. В этом нет утешения, дорогая моя.

– А в чем же оно есть?! Сами держитесь за что-то, ну и на здоровье! Что вы ко мне привязались?!

– Вас привел Мосс, не забывайте. И я вас ни о чем не спрашиваю и ничего вам не предлагаю. Вы тут просто ждете, пока можно будет двинуться дальше. Симону мои уроки ни к чему, у него были свои учителя, и они хорошо знали свое дело. А вот вы... У вас не отняли ничего существенного. Вы живы. Но у вас под ногами, – тут она с видимой даже в ночи презрительной миной повела рукою, – пустота.

– Ну? – я уже закипала, а пауза была чрезвычайно весома.

– А меня у меня отнять невозможно, – изрекла Уна и, поднявшись, оставила меня на крыльце одну.

...Может быть, это все оттого, что я укоренилась в мысли – на Симона действительно можно положиться. Когда было по-настоящему плохо, когда после бразильских беженцев мир казался нарисованным кошмаром, – разве не вышло так, что Симон оказался единственной, абсолютной реальностью? Он был озабочен, я помню – но он не боялся. И у него все было, похоже, распланировано и предусмотрено – даже и на такой случай... Но если он отправил меня... вместо себя... Боже, Симон, ты кто? Ты зачем? Разве так можно?

...Симон уселся в оконной нише, а я пристроилась на краю подоконника и все время чувствовала плечом стену.

– Ну, нет, – говорил он. – Зачем мне убегать? Я и так, по-моему, в полном порядке.

А вот ты, я гляжу, много плакала. Отчего?

– Страшно ведь.

– Ну-ну, в городе сейчас страшнее.

– Вот именно, ты опять обо мне позаботился. А сам-то?

– А что я?

– А вдруг бы тебя арестовали? Вдруг военные решили бы, что геи противоречат задачам текущего момента?

Симон рассмеялся, и тут до меня дошло, как мы странно разговариваем: как будто все дело только в гаях... и еще – как будто мятеж кончился. И тут я на мгновение проснулась. Наполовину я понимала, что сижу на крыльце, прислонившись к поручням... Но этот разговор – он не мог же быть во сне: такой отчетливый. Сны ведь всегда путанные, да и у Симона было бы чье-нибудь другое лицо... Меня вдруг проняла сильная дрожь – ночной воздух был холодный, жгучий. Я кое-как поднялась и проковыляла в дом. Света нигде не было, я на ощупь пробралась в комнату и легла на тот самый диванчик, на котором сидела днем. Постепенно дрожь прошла, и я, видно, задремала снова.

Потому что Симон снова был тут, как и не исчезал.

– Вот именно, – он все еще смеялся, как будто там, где он был, время не шло или шло как-то по-другому. – Текущий момент! Вот тебе текущий момент, – он распахнул створки, и я увидела дерево со сбитыми ветками. – Видишь, дерево посекло? Но со мной ничего не случилось. Я тут сидел три дня безвылазно, занимался своим делом.

– Ты всегда занимаешься своим делом... всегда у тебя какие-то тайны, недомолвки. А я боюсь за тебя!

– Напрасно, Ката. Ничего страшного. Я просто писал.

– Писать-то тоже можно разное. Ты же не роман для девочек, небось, сочинял?

Он не ответил и закурил. Я даже не различала теперь его лица – только черный силуэт на светлом, и дымная струйка, ускользающая между пальцев. И что у него за табак, – просто дышать невозможно!

Нет, это был не табак. Фитили свечей тлели в кадильном дыму вокруг Уны. Снаружи в окна барабанил дождь. Покойник к дождю снятся... О нет. Нет. Только не это, пожалуйста, нет. Мучительное ощущение: и сон – не сон, да и явь уж такая – хоть вой... Я спустила ноги с дивана. Что же это за разговоры во сне, к чему? И Симон совсем как раньше – спокойный, деловитый, излучающий уверенность... Что это? Пустой обман или, всему вопреки, какая-то надежда?

– Сны не содержат ничего, – вдруг подала голос Уна. – Они не ведут, не предостерегают и не могут служить опорой духу.

Я вздрогнула. А хозяйка продолжала:

– Садитесь. Нет, на пол. Ноги под себя. Да. Руки положите на колени.

– Это неудобно.

– Ничего. Потерпите. Ничего не делайте, освободите разум. Не старайтесь понять. Просто слушайте. Отпустите себя.

И она запела, забормотала, как хиппи из Виньи – что-то на непонятном языке, нараспев.

Все это подкатило под горло как сладкий дым. Эзотерикой я никогда не увлекалась... Зачем я тогда подчиняюсь? Почему я всегда подчиняюсь? Почему всегда чужая воля? С тех пор, как те проклятые танки вошли в Прагу – воля моя, похоже, дала трещину, и я сначала убежала сюда, а теперь – куда? Снова не мне решать? Не мне решать, куда идти, и не мне решать, что делать, и еще было одно, что совсем лишало сил. Симон остался в аду. Конечно, у него там было дело, и явно это не роман для девочек... И мне было страшно думать о том, что это могло быть, – то, ради чего он нарушил тщательно составленные вокруг него планы, может быть, даже приказы... ведь здесь его ждали, и о том, какой ценой это обернется – то, что он зачем-то решил побережь меня,

мою бессмысленную жизнь... И я не знала в этот момент, чего в мне больше – любви, былой и привычной, и благодарности – или горькой злости и отчаяния.

Что за жизнь ты мне подарил, Симон? Без «попугаячьего насеста», без пытки электричеством и водой, без изнасилований раз за разом, без...

Без чего – я знала.

Но с чем?

И как мне теперь платить?

И кому?

Мантра зудела, жужжала, гудела... Никакого облегчения. Только обида. Только злость. Только отвращение к себе... Покой! Где мой покой?! Где я сама?! И тут за ровным плеском воды я слышала другой звук. Он повторялся, трескучий, раздраженный, и вот тормоза заскрежетали у самого дома.

Уна медленно повернулась к двери, но лицо ее ничего особенного не выражало. Шаги прогрохотали на крыльце, в прихожей, петли взвизгнули... вошел Мосс. То есть он остался в дверях. Ливень промочил его, я различала каждую каплю воды на пятнистом комбинезоне.

– Да, Моисей? – телефонным голосом спросила Уна.

В это мгновение вполне мог бы ударить гром, но вода только монотонно шумела.

– Катерина где там? – хрипло произнес солдат и утерся. – Пусть собирается, надо дальше двигаться.

И посмотрел при этом на меня. Я расправила затекшие ноги, но не вставала.

– Дальше? – я подала голос. Мосс буркнул:

– Ну, не обратно же...

Тут Уна вмешалась:

– Ты видел Симона?

Мосс не отвечал.

Мне не пришлось в голову сказать: «До свидания». Уна только чуть подвинулась, освобождая проход. Снаружи в лицо ударила вода. Прощай, благая и странная Уна... прощай!

Тент в джипе протекал, капало мне как раз на колени. Мосс плюхнулся на сиденье, с хрустом повернул ключ.

– Куда теперь, Мосс?

Мосс прилип к педалям, вцепился в рычаги и баранку, – не до разговоров ему было. Чокнутый: в такую погоду, ночью...

– Где ты был? Ты видел Симона?

Джип трясло, дорога почти не просматривалась – но мне показалось, что мы едем выше, в горы, и мне опять стало страшно.

– Мосс?

– Да угомонишься ты, женщина? – прорычал он. – И так не видно тут ни хрена, и ты еще нудишь! Забудь ты о Симоне, все, как будто не было его...

Я думала, что меня уже нельзя больше напугать, но эта холодная решимость – не злость, не гнев, не раздражение – а именно что холодная решимость, как будто Симона действительно *никогда не было* – она меня просто оглушила.

– Куда мы едем? Да что ты молчишь!

– В Аргентину, – проронил Мосс, и я поняла, что больше спрашивать не о чем.

Мы ехали без дороги несколько часов, наверное. Остановка была в каком-то совершенно заброшенном домишке – не знаю, кто бы тут мог жить, когда мы приехали, халупа была пуста и, кажется, давно покинута. При ней был сарай, Мосс загнал туда машину, и наутро с первым светом мы ушли в горы.

Шли вдвоем, без проводника. Это был поход, о котором и говорить нет сил – лютый холод и редкий воздух, злое солнце и один раз – удивительные звезды, на которые мне не хотелось смотреть и которые казались втрое больше из-за слез, сухая еда, негреющий огонь и довольно много боли – в сбитых ногах, в изодранных пальцах, в растянутых суставах. Мы почти не разговаривали – не до разговоров мне было в этом высоком поднебесном аду, и только когда на другой стороне гор показалось в долине что-то похожее на человеческое жилье – какой-то крошечный поселок, солдат остановился и сказал:

– Аргентина. Ну, как бы сестра, прощай.

– Прощай, Моисей.

– Там миссия, – сказал он, указывая в долину. – Доминиканцы. Они примут. А там сама разберешься.

Я кивнула.

Он повернулся и полез наверх – в ад.

А я спустилась с гор.

## *Часть вторая*

### *Остров яблок*

#### **Тераи**

Никто никого не собирался губить.

Никто не заказывал приворотного зелья, не втыкал иголок в куклу, не плясал противосолонь.

Просто он двигался на сцене, пойманный в темноте золотым лучом, и сам золотой.

Музыка была, конечно, томная – на первый слух, а потом в ней отчетливо пробился, набрал силу ритм – как сердце. И, как сердце, плавился страстью этот юный, высокий, с прядью жестких черных волос, вынутой из гладкой прически – нарочно, чтобы притягивать взгляд.

Светло-смуглая кожа, глаза вспыхивают коротким проблеском, темные губы.

Я же видел их на материке, думал Келли, я же их сам вроде приглашал, но этого – не было, откуда же он?

Ничего, чтобы показать – ах, возьмите меня, вот я какой желанный, сладкий, томный...

Но другое – вот я, на лезвии, на кончиках пальцев, свет стекает по плечам, или это тело льется как жидкий металл, как пламя...

И вдруг текуче соскользнул в зал (жена мэра ахнула так, что услышали все...), легкой стопой прошел между гостей, ни на что и ни на кого не обращая внимания. Не просто шел, танцевал каждой мышцей, и танец закончился, когда вздрогнули раскрытые веером ладони – у самого лица сраженного наповал управляющего.

В стакане стукнул лед – надо же, не растаял... времени не хватило? Как не схватил его за руку, не принял вызова? И все видят, все же видят, как приходит на это золотое лицо победная улыбка – пробивается сквозь ресницы, трогает рот...

Келли с места не двинулся до конца представления, но не замечал, что делалось, не слышал ни музыки, ни аплодисментов. Тони, официант, подошел узнать, не надо ли чего – посмотрел – и спрашивать не стал, принес еще минералки со льдом – умница...

Одна здравая мысль пришла в оглашенную голову управляющего: надо узнать все

же, кто такой... надо посмотреть на него при свете дня. Когда не танцует, а, скажем, ест апельсин... что они там едят, эти мускулистые феи?

Помрачение помрачением, но за курткой пришлось зайти в контору, а на лестнице догнал Марча – очень кстати.

– Ох, Марч, вот это парни!

– Неплохие, да, – отвечал бесценный помощник и друг Эван. Глаза у него были лукавые. – Да. Особенно новенький их.

– Слушай, вот его, – Келли сглотнул, выровнял голос, – слушай, я бы его еще отдельно оставил, ведь это же просто черт знает что такое, какие чудеса делает...

Марч кивнул. Сам в эту сторону никогда не смотрел, был женат и двум дочкам отец, но друга осуждать – с какой стати?

– А он, между прочим, тебя внизу дожидается.

Келли ступеньку пропустил, споткнулся, оглянулся снизу:

– Как это? Дожидается?

– Ну да, – Марч весело скалился, ему-то головы не терять...

Келли тихонько выдохнул что-то – то ли Господа помянул, то ли другое, и ринулся к выходу.

Он в самом деле стоял там, в оконной нише – ночная тень, весь в черном. И, хотя роста был не маленького, все же взглянул на управляющего снизу вверх. Без суеты, как будто договаривались давно.

– Привет, я – Тераи, – звуки округлялись, перекачивались, как галька в волне. – Идем?

И пошли – как ни в чем не бывало, а идти-то недалеко, поначалу переговаривались будто бы о делах – о танце, и давно ли, и откуда родом, и что за имя...

Но дома, когда закрылась тяжелая дверь парадного, Тераи опустил на пол спортивную сумку – внутри звякнули колокольчики или другая какая его утварь, – и так же запросто, как смотрел, коснулся раскрытой ладонью – словно метку ставил. Сквозь плотный хлопок рубашки, сквозь тройной узел над сердцем прожег – о чем еще было говорить?

Не мягкий, но уступчивый, не жестокий – дерзкий до изумления, не мальчик, но и не взрослый – таким он оказался, и Келли знать не знал – за что ему такое? Почему? Они об этом никогда не говорили – Келли только думал, а Тераи, наверняка, и не помышлял. Он был жадный, рвался кверху, как бамбуковый росток. Обнимая его, прижимаясь щекой к животу или груди, Келли чувствовал прочнейшей лепки мускулы – непробиваемую броню.

Сам-то Келли с ним жадным не был. С жажды все начиналось, но она схлынула быстро, осталась новая, непривычная мягкость – вот, теперь буду так жить, любить Тераи – просто. Но просто – не получалось. И вовсе не потому, что Тераи был капризен, или ревнив, или непостоянен – как раз наоборот.

Каменный он был, золотой божок, само равновесие. Непокколебимое. Менялись ролями, любили, как только в голову могло прийти – бывало, Келли и слезы глотал – так сердце заходило, но Тераи словно знать не знал ничего такого. Принимал любовь бесследно. Отдавал свою – и не заглядывал в глаза – что там? Жизнь складывал легко – уволился из приезжего шоу, стал выступать в «Сиде» соло, сделался знаменит – еще бы нет! Но оставался при Келли – не домашним любимцем, приходил, когда вздумается обоим, а иногда – когда самому вздумается, жил день, два, неделю – как получалось. Не напоказ сладкая парочка, и не семья – Господи упаси! – а двое. Не связаны вроде ничем, и не свободны.

Уйдет ведь, что буду делать? – думал иногда Келли и пугался будущей тоски – а раньше бы и в расчет не принял. Это потому, что он не просто молодой – юный... Не сравняемся, хоть двадцать лет вместе проживи. И сам ухмылялся – двадцать лет! Сколько дашь, судьба, столько и возьму, говорил себе, и ни разу не спросил – что дальше? Глупо

спрашивать такое.

Слова – как яблоки. Зреют медленно, наливаются силой, повисают на языке... можно и проглотить, чаще это яблоки горькие. Но Келли свои не удержал – и проглотить не удалось. О чем думал, сдаваясь понемногу, о том и сказал в конце концов. От ранней весны до бабьего лета – хватило времени если не понять, то почуять – здесь беда. Здесь.

Когда жара донимала и не нужно было управляющему днями сидеть в конторе, а Тераи не репетировал, не был в Аделаиде по своим делам или не уезжал выступить где-нибудь еще – тогда обычно Келли брал скутер, и они вдвоем уплывали подальше от городских пляжей. Забирались за волнорезы, раздевались догола, оставляли лишь спасательные пояса сверху – и айда с ветерком по зеленой волне! На побережье были заливы, доступные только с моря, – чистый песок, выглаженные водой каменные плиты, нетоптаная красота... Прямо как в раю, – не без ехидства замечал Келли, догоняя танцовщика на мелководье, стараясь схватить за косу, – Тераи днем обычно заплетал волосы, но женственным от этого не становился. Иногда удавалось, чаще Тераи сам развязывал шнурок, потом его всегда искали подолгу, собираясь назад... Нет, конечно, они не были в раю, и невинными тоже не были, но все живое, кроме них, молчало в зное, и то, как они смеялись и что говорили друг другу – в полный голос, шепотом, или в крике – если не сдержать... казалось особенным. Во всяком случае, Келли за этим приезжал сюда. Тераи же просто играл – и с водой, и с песком, и с Келли. Никакой хореографии, никаких танцев – от природы у него было тело пловца, и душа гладкая, как вода в прогретой бухте. Но и в танце, и в любви он величаво и тщательно «сохранял лицо», не уступая ни черточкой, только глаза закрывал. Келли тоже научился не подглядывать – потому что видеть эту совершенную маску было мучительно, а понять – и вовсе невозможно. Верил телу, рукам своим, этой радости – сколько мог, потому что сердце – сначала исподволь, потом все настойчивее, – выстукивало: беда.

Тераи бы оказаться, или быть, или стать совсем другим – не как те, без числа и памяти, еще совсем вроде недавно, но уже не вернуться туда... И не как тот, единственный, о котором ни слова... Келли хотел, чтобы случилось так – может быть, больше, чем удовольствия от любви... Но самого Тераи как раз и не мог удержать. Все сейчас, только на это мгновение, на сегодня. И «сегодня» повторялось, но не наполняло ничего.

В начале осени вот так же вырвались из города – свой день есть свой день.

Ловили рыбу, порадовали друг друга, и это уже становилось обычным, вошло в привычку. Вот будет зима – Келли хмыкнул, представив себе, как сидят, прижавшись тесно, под проливным дождем... Сейчас-то было приятно лежать голым животом на влажной плите. Но позднее солнце придавило плечи, тяжело легло на затылок.

А скользнуть в воду, спрятаться – не получалось. На самом краю плиты сидел Тераи, свесив ноги в режущую бликами волну. Над ним – или в море, но так высоко, что казалось – прямо над ним, – качалась на восходящем потоке морская птица.

– Как ангел...

– Что?

– Птица. Смотри, как зависла...

– Птица, – фыркнул Тераи и откинулся на локти, подставил себя свету. – Толстая, белая жадина... Правда, ангелы тоже толстые и белые. В белом.

Келли рассмеялся.

– С чего бы? Где ты таких видел?

– Дома в поселке. В церкви. Мой дядя рисовал. Они у него всегда на тетку Рангу походили – толстые, с томными такими глазами... Вот таких я видел. А ты?

Келли не ответил сразу. Толстые белые тетки... Высокий, открытый, повернутый к солнцу... Светловолосый... нет, это уже давно... Давно. Не со мной.

– Нет. Я все больше по людям... Однажды, правда, встретил – совсем не такого... и даже любить довелось...

Тераи многозначительно похлопал себя по груди. Келли отрицательно мотнул головой.

– Ну, что ты. Какой из тебя ангел.

Тераи задрал брови.

– Ты искуситель такой... маленький маорийский дьявол.

– Хорошо еще, не сумчатый, – уточнил Тераи. – Ладно, допустим. А ты?

– Я-то? – Келли удивился – как легко соскользнули слова, – я всего лишь старая ирландская шлюха.

Он ожидал, что Тераи засмеется, или рассердится, или хотя бы скажет – какая чушь, мой милый! На худой конец удивится – почему же шлюха?

Но тот посмотрел, словно прикидывал что-то, и спросил:

– А сколько тебе?

Келли оторвал живот от камня, сел.

– Ну, сколько?

– Тридцать три. Через две недели будет тридцать четыре.

Тераи сложил губы дудочкой.

– О-о! Мне всего девятнадцать. Так что ты действительно... старый...

– Дьявол! Дьявол! – Келли вскочил, ему вовсе не было смешно, хотел схватить за волосы, но Тераи легко увернулся, подставил плечи. – Да на куски разорву!

Тераи не сделал даже вида, что испугался. Сквозь ресницы смотрел внимательно, словно пересчитывал, по частям складывал нависшего над собой любовника: так, это пальцы... ничего, крепкие, руки – ага, мускулы имеются, плечи – годятся, какие есть, крестик на золотой цепочке, живот – плоский пока еще, колено... и в обратную сторону: живот, татуировка, крестик, бешеные карие глаза...

Сколько ушло на это – секунда? Меньше? Но когда высвободил руку – притянуть к себе, ведь ничего же не случилось – было поздно уже. Келли сам его отпустил и сел поодаль.

– Не обижайся.

– Я не обижаюсь. Черт, где мои плавки, утопил я их, что ли?

– Они в скутере, под сиденьем. Келли... это же правда. Ты старше.

– И ничего кроме правды, детка. Ты спишь с богатой подержанной шлюхой. Она еще не морщинистая, правда, не дряблая даже... и не в маразме. Ты сам-то понимаешь, до чего это отвратительно?

Поднялся и отошел к скутеру, искать плавки. Тераи тем временем понял – что-то не так, возвысил голос:

– А я думал, тебе нравится... И разве ты мне платишь за это?

Келли задохнулся.

– Еще чего! Хватит и одной бляди, пара – это уже слишком!

– Тогда что случилось? Почему отвратительно?

Келли в растерянности смотрел на Тераи – что с ним? А со мной? С нами?

– Ты не поймешь, – сказал через силу. – Если сейчас не понимаешь – то все уже... А если бы понял – ты бы не сказал, что сказал. Я ведь не за это тебе плачу, у тебя контракт, мальчик, и там ничего... Но ты-то... ты меня купил, что же удивительного, что не возражаешь... Я и есть шлюха. А кто же еще? Все верно.

Бормоча что-то, оделся сам, принес Тераи его шорты и белую рубашку.

– Собирайся. Скутер-то один, не оставлять же тебя здесь.

Тераи взглянул – ни слова не сказал.

– Давай, – и Келли молчать бы, но не получалось, несло куда-то... удержаться только. – Отдых закончился. Мне надо в клуб.

Возвращались – Тераи еще держался, обнимал за талию, по-другому на скутере никак, но на причале руки снял – и больше уже не прикасались друг к другу. Келли был мрачен, Тераи выглядел не то чтобы растерянным – такого выражения нельзя было даже

представить у него. Но, кажется, сообразил, что «порвалось ожерелье», и от того, что не знал, что делать – и надо ли? – от этого и попрощался весьма непринужденно, и пошел с причала легкой походкой – куда? Ночевал где-то в городе, и слава Богу – Келли не вынес бы его рядом, хорошо – хоть это почуял, безмозглое создание... Вот как обернулось – слова, под солнцем сказанные едва ли не в шутку, к ночи вьелись клеймом, отчетливее охранных узлов, жарче прикосновения бесстыжей его руки.

Тераи, Тераи!

Разве виноват, что золото твое – не годится? Разве ты виноват, что этой боли не знаешь – я и сам-то только сейчас...

Говорил сам с собой, оправдывал его, вспоминал ясное лицо, звучный голос – но это же правда, Келли! – и ненавидел. Ничего нельзя было поделывать, сказано же – не останется тебе радости.

И, уж конечно, ничего нельзя было поделывать с самим Тераи. Бесчувственный – да, но в контору явился, улыбаясь дерзко, и сумку поставил у дверей: скажешь слово – уйду, скажешь – останусь. С тобой останусь. Что ни выбери – я победил.

Но Келли не выбирал ни любовь, ни гордость.

Он тоже улыбался – совсем легко это оказалось, и с цифрами в руках как дважды два доказал, что контракт его – самый лучший сейчас из возможных, а истекает только через шесть месяцев, и все будут счастливы видеть «солнечного Тераи» три вечера в неделю...

Ах, как вздохнул свободно – только вздохнул, но и этого довольно... Потянулся коснуться, отметить снова, но Келли не позволил. Убрал руки, поднялся из-за стола.

– Ну, нет, – сказал, и горечью этой ничуть не обжег губы, – не это, мальчик. Этого – нет в контракте.

## Мастер

На пляже было свежо – март, осень. Келли щурился на рябую волну, прятал подбородок в колени. Мышцы давно свело, но распрямиться, разжать пальцы, уйти...

Не шевелился, гадал – добьет прибоем... или нет... а еще песочком источит...

Нужно было идти в клуб. Но не хотелось. Вчера какой-то придурок запустил камнем в Сиду. Охранник замешкался, выскочил – пальнул в воздух, ну и что?

А у Сиды лицо разбито. Глаза бы не глядели.

Прибой лизнул кроссовку, просочился под ярлычок. Келли подобрал ногу, охнул: ну, сколько можно медлить, Мать Божья? Надо идти.

Надо.

Марч стоял на улице и, склонив голову к плечу, рассматривал фасад. Келли прикусил губу. Ай да Марч! Аккуратненько напустил на Сиду флаг Содружества. Атласное полотнище выглядело странно под сплетенными вязью газовыми трубками, однако же...

– Как он в свет не попал, – пробубнил Марч, не здороваясь.

– Угу, – буркнул Келли. – Я ему и за Сиду яйца оторву.

– Когда найдут. И – если.

Келли пожал плечами. Хренов городишко Хобарт, ломать мастера... ведь свет и Сиду заказывал на материке...

– Ладно, – сказал он. – Что с ублюдка возьмешь? Сегодня, Марч, мы открыты. С десяти, как всегда.

Сначала рылся в прошлогоднем ежедневнике, выпотрошил визитницу, пересмотрел пометки на старом календаре. Номера Ванессы не нашел. Ругаясь в голос, вспомнил – сам

же вычеркивал, искоренял, как будто это что-то означало. Вот, только одно и означает – когда забылась чепуха и человек нужен для дела – изволь связываться через пятое на десятое... через задницу все...

Позвонил Лансу в агентство, того не было на месте, оставил сообщение. Ну вот, теперь еще и обойдется втридорога. Ланс своего не упустит. Черт, сто раз черт и тысячу раз!!! Суки! Сволочи! Трусы!!!

Все-таки после звонка полегчало. Ванесса приедет, все будет путем. Келли думать не хотел, что ей скажет, и как она посмотрит, и куда вздумает ходить гулять – а нечего гулять, пусть работает...

Просмотрел программу на сегодня. Дэф – ладно. Этот станцует что угодно... хоть похоронный марш. Райские птицы Рио... нет уж, это отменим... Посмотрел, что пришло с утренней почтой: сестры Мадзарелло – Боже милый, ну и буфера! – предлагали послушной список и жаждали поразить хобартцев танцем живота. Живота... как же... подождут. Подписал к оплате счет за дубовую панель (поморщился, представляя, как будет подписывать счетище за Сиду). Прикусил колпачок ручки, и с этой повадкой бывшего курильщика замер вдруг.

Нет, не увидел ничего.

Просто затосковал.

Сидел в удобном кресле – все тут было удобное, для себя старался, – распустив безвольно ладони, морщась, с пластиковой ерундовиной в углу рта.

Одна и та же была всему причина – и что порт Хобарт за окном, и Ванесса, и то, что не может закурить.

Сида.

Успел уехать, ноги унес – и что?

Проскочили с Дихи буквально в последний момент, и в дурном этом угаре орали друг на друга всю дорогу – очень уж стыдно оказалось вот так выживать – во что бы то ни стало. Потом, правда, малый наглотался пилюлек «от стресса», по крайней мере, уже не спорил... Так и пер его, считай, на себе, полуобморочного... И ошалевшая от чумовых суток девица за стойкой переспросила – подальше? Сидней, Австралия – устроит? Еще дальше? Оттуда – куда угодно, например – Порт-Хобарт...

А потом здесь уже телевизор включил – и увидел... Город. Танки. Разбитое здание. Военные патрули. Пожары. Первая мысль была – «А он? Он – там?» Тогда курить и бросил, потушил сигарету – последнюю. Снова закурить не смог... Удивлялся поначалу, потом злился, бесился в никотиновой ломке – но перехватывало дыхание от дыма, и все тут.

Когда Ванесса, ласкаясь, назвала мастером... Лежал подле нее, ни вздохнуть не мог, ни пошевелиться – с картона напротив Сида глядела презрительно: неправда это, притворство, сам знаешь. А Ванесса все гладила, шептала свое, вот и взорвался, взбесился. Сбросил ее руки – наотмашь по пальцам, орал, мол, мастер – это платный ебарь, она в ответ – а ты-то кто, думаешь, не знаю? Да еще и полупедик! И пошло тут – с визгами и оплеухами, с дрянью и бранью, а Сида усмехалась, потому что вот это уж была чистая правда. Не то чтобы через край стыдная, какой уж есть, – но другое было горше.

Мастер, верно.

Умелец, черт и сто раз черт...

А сердца нет.

А там, где сердце, под свернутым втрое узлом татуировки – страшная провидица с глазами-маслинами.

Правду она сказала – не будет тебе радости, Келли, от того, что ты спасешься.

Телефон зазвонил с переливами.

– Келли. Говори, Ланс.

– Здравствуй, Келли. Как поживаешь?

– Херово поживаю, – сказал Келли. – Сиду разбили.

Ланс хмыкнул.

– Ну, прости. Привычка.

– Прощаю. Когда Ванессу пришлешь?

– Э-э... собственно, Ванесса... не приедет.

– Что?!

– Она... на меня больше не работает.

– Ланс! Не шути!

– Келли. Я ничего о ней не знаю уже полгода. Не вздумай швырять трубку.

Келли осторожно разжал пальцы, переложил трубку направо, чтобы лучше слышать.

– Найду, что швырнуть... из твоих бесплатных приложений, не беспокойся... Слушай, Ланс, я тут просто бешусь, Марч этот бардак флагом завесил, но у меня все-таки ночной клуб, а не гребаная мэрия!

Ланс захихикал.

– Да-да. Умница Марч. Хорошие у тебя люди.

– Да уж, – с нажимом отвечал Келли, заводя глаза. Боже, взять бы Ланса за шкуру, потолок носом в столешницу... – по крайней мере, не сбегает без вести. Что ты можешь для меня сделать?

– Все, что угодно, – весело отвечал Ланс. – Это будет стоить тебе двести сейчас, а за саму работу – как получится. По факту, так сказать.

Келли стиснул челюсти. За три куса цветного стекла...

За Сиду – чтобы она смотрела на моряков темным взглядом...

– Завтра, – сказал он и не удержался, сошел в хрип. – Чтобы завтра, слышишь...

– Будет тебе завтра. Не волнуйся, солнце мое, – и трубка забибикала отбоем.

Были другие дела в остатке дня, Келли очень старался, чтобы мысль о Сиде не втыкалась то и дело осколком между ребер. Клуб открылся в обычное время, постоянные посетители смешались с теми, кому завтра уплывать дальше, вокруг острова, к Аотеароа – Длинному Белому Облаку, к Австралии, к берегам Японии.

Келли не остался на вечернюю программу, как делал, если был в добром настроении. Ушел через кухню, чтобы никого не видеть – ни старых знакомцев, ни однодневных пришлых. Ешьте-пейте, шепчитесь-веселитесь, Марьян вам смешает, Тони, Лада и Орс поднесут... а Дэф спляшет... так, что у вас аж в глазах почернеет... Люди...

До дома идти было – всего ничего, несколько сот метров, но он встал под телефонной будкой и все перебирал на ощупь монетки в кармане. Позвонить Марине? Атану? Тераи? Нет, нет, да и не поможет это, потому что с ними и для них одно – спортивный секс, образцово-показательный, с обоюдными удовлетворениями. А как же – мастер! Черти тебя еще в аду за это мастерство... А того огня, что прежде был задаром, как вдох и выдох, нет и уже не будет. Ушел огонь, отступился, а куда, почему – вот, спроси-ка у Сиды!

Чего ж ты хотел, скажет она, когда убежал от судьбы? Разгребай теперь пепел.

Так никому и не позвонил. Холодно ему было в ту ночь, а Сиды, закрывая лицо ладонями, шептала жалобно, но ее языка Келли почему-то не понимал.

Мастер приехал затемно, еще туман не поднялся. Келли спал – не спал, до утра промаялся, в затылке плескалась тяжесть. А ведь один только глоток с вечера – вон, стакан стоит недопитый, уже и «Джемисон» не в радость и не впрок. В этой беде выбрался на балкон, уперся голым животом в холодные завитушки – аж под сердцем заныло, – и услышал, как у «Сиды» кто-то терзает что есть мочи сигнал. С минуту слушал – вспомнил, побежал звонить на охрану. А еще через пару минут уже натягивал джинсы,

путался в футболке – встречать дорогого гостя.

И встретились – мастер, уже немолодой, едва по плечо рослому управляющему «Сиды», и сам управляющий – востроумный, серый после скверной ночи, больной.

– Я от Ланса, Ник Микаленич, работаю по стеклу.

– Да, – Келли прочистил горло, но голос звучал ржаво. – Это здорово. Доброе утро, Ник. Я Келли, управляющий... в общем, там мой клуб и все... Завтракать?

– Спасибо, – Ник улыбался, доброжелательно поглядывал по сторонам, дом ему нравился. – Я уже.

– Но я-то нет! – Келли воспрял духом при виде этого спокойного славного дядьки. – Заходите. Или нет, я сейчас... но все равно – заходите!

Усадил мастера в нижней гостиной, извинился раз пять за то, что в такую рань нечем угостить (Ник вежливо и терпеливо отнекивался); все-таки побежал под душ, оделся наново и спустился, голодный и почти бодрый.

– У меня пикапчик тут, – говорил мастер, выходя вслед за Келли в просветлевший туман, – там платформа, инструменты. Так я его подгоню, а ты мне покажешь, где там и что, да?

Выговор у него был мягкий, но не такой, как у местных. Мика... ле-нич, ну и фамилия, а дядька, кажется, в целом приятный...

Все еще в запале, Келли совершил налет на холодильник в ресторане, сварил кофе – но, пока жевал-запивал, тоска тут как тут – прогрызла подреберье, взялась за душу.

Мастер времени даром не терял – когда хмурый управляющий появился из парадного, платформа уже была собрана, Ник наверху осторожно отцеплял завязки флага.

Келли не сдержался, матерно охнул – в пол-лица ее черная рваная дыра, как же можно! Ник хмыкнул. Рассматривал витраж, то так, то сяк наклонял голову, осторожно трогал сколы. Наконец перегнулся через перила с отбитым куском стекла в руках:

– Хорошо. Прямо сейчас и займусь.

Три часа спустя в кабинет Келли заглянул Марч. Управляющий сидел на подоконнике, сонно смотрел на горизонт.

Оглянулся:

– Ну, что? Как дела?

Марч покачал головой.

– Ты лучше сам погляди.

– Что такое? Говори?

– Нет, Келли. Сходи сам. Чересчур он... самостоятельный.

Келли выбежал вон.

– Что ж ты делаешь, стекольник хренов! Слезай оттуда! – Келли захлебнулся. Этот... горе-мастер вынул стекла в половине витража, от Сиды остались только летучие завитки волос по краям да синее платье.

Ник аккуратно положил стекло, сошел с подмостков.

– Что это я делаю? Работаю... но могу и поговорить...

Похлопал по карманам, вытащил «Мальборо», закурил. Келли не успел и рта раскрыть – зашелся кашлем, ухватился за лестницу.

– Что такое, что?

– Не кури... при мне... ясно?

– Ясно. Виноват, не знал же.

– Да пошел ты... что с Сидой теперь?

Мастер посмотрел на витраж.

– А что с ней? Все будет хорошо... Как ты сказал? Как ее зовут?

Не осталось сил злиться, гнев утонул в горькой слюне.

– Ее не зовут... Это Сида. Да ты все равно хрен поймешь... Я же тебя просил – что? На кой ты все разобрал?

Мастер усмехнулся.

– Вот как. Говоришь, ни хрена не пойму, да? По крайней мере, я работу свою знаю. Просто так не исправишь. Не окошко остеклить.

– Слушай, теоретик, – Келли снова закипал, – слушай, я твои художества поощрять не намерен. Что не окно – понятно, но ты... лучше не умничай, лезь наверх, ставь все на место, и завтра к вечеру чтобы я эту государственную символику отсюда прибрал! Мне нужна она. Живая... то есть целая, я хотел сказать, ну, ты понял.

– Понял, понял, – мастер посмотрел на Келли искоса, но без злобы или обиды. – Вот что, парень... Сразу скажу, чтобы без недоразумений – ни завтра, ни послезавтра Сиды... хе, Си-ды... у тебя не будет. Вот, спросить забыл – чья работа, кто ее делал?

– Ванесса ван Шпренглер, – отвечал ошарашенный Келли, – знаешь такую?

Ник пожал плечами: то ли да, то ли нет.

– Неплохо, – все-таки вытащил сигарету, сунул в рот. – Да. Рисунок хороший, стекло... Но раз испорчена – то не без причины. Неправильно что-то с твоей красавицей. Подумать надо... Так где у тебя можно курить?

– Там, – управляющий махнул рукой, – скамеечка, видишь?

В парадном околачивался осторожный Марч, без слов вопрошал – как, быть или не быть?

– Ну и дед... Думать он будет ... Марч, присмотри за ним. Я домой пойду, ночь не спал, совсем никакой.

Келли снилась гибель. Жестокий был сон и беспросветный. Один смертный ужас, – знал, что убивают... Мокрая подушка рассыпалась землей, простыни обжигали холодом спину, живот, ладони. Умереть в том сне Келли не мог, только умолял – не надо! И проснуться не мог – наяву все кружилось и рушилось, осыпая лицо осколками, ледяные пальцы разжимали челюсти...

– ...!

Это был не его голос, и Келли не разобрал слов. Не до того ему было – глотнул какой-то горькой, вяжущей, кислой дряни, от которой свело диафрагму.

– Вот беда. Давай еще раз.

– Кто...

– Да это я, Микаленич. Пей, парень, это аспирин. Все равно, тебе пить надо. Марч уже за врачом побежал. Ну, постарайся.

Но Келли не стал пить. Его опять накрыло сверху жаром, снизу – холодом, пошло мешать слоями... Микаленич – убийца, Марч – предатель, какой врач, ведь он уже умер, должен был умереть – страшной смертью, так сказала Сида...

А тут и Сида пришла за ним, лицо закрыто наполовину, села на постель. Келли не позволил ей откинуть покрывало – что ты, там ведь грязь, кровь, могила... Калифорнийский грипп, пневмония, ломким голосом шелестела Сида. Ничего, отвечал кто-то с чертовски знакомым мягким выговором, я уже переболел. Но все равно, глобулин... и подержите вот здесь.

Укол в плечо, нечем дышать, волна горячего пота, липкие губы, тишина.

– Ну вот, и ничего не умер, – старый Микаленич вошел по-хозяйски, он и в больнице не смущался. – Вот и гостей ему разрешают!

Келли повернул голову. Лихорадка высосала его до бледно-желтого цвета, порвала губы трещинами, и говорить в полный голос он еще не мог. Но все-таки две недели прошло, и ясно было, что управляющего не понесут хоронить. Микаленич поставил на

стол бумажный пакет с яблоками. Сверху снял одно, пурпурное, с гляncем – положил на постель, под руку Келли. Тот накрыл яблоко ладонью, но пока молчал, даже не поздоровался. Он смотрел на Ника, как глядят в огонь – рассеянно и сосредоточенно одновременно, не вспоминал – все помнил, и витраж, и ссору, и голос, протянувшийся над бредом. Но это было теперь словно за матовым толстым стеклом, разбивать же его Келли не собирался. Сил не было.

Ник, устроившись на высоком табурете, поймал этот взгляд и положил руку на тощие пальцы управляющего.

– Все в порядке. Слушай, Келли, мальчик, ты ешь. Это мои, у меня сад, – сад был далеко-далеко, за светло-серыми стенами больницы, под солнцем. – Все у тебя хорошо. Красавица твоя, Сидя, лучше прежней. Я бы, может, и еще постарался, но тогда надо было б нам разговаривать, это долго. Вдобавок ты еще вздумал коньки отбрасывать, да? Потому уж не обессудь: как понял сам, так и сделал.

Келли кивнул. Как понял – не все ли равно отсюда? Накатил яблоко на цветастое покрывало, подумалось: лежал бы под этим веселеньким ситчиком – с перекошенным, черным от удущья лицом... Нет. Теперь уже – нет.

Яблоко оказалось правильное, с хрустом и звоном. Защищало губы, мягко перехватило горло. Келли прикрыл глаза, жевал сладкое, незапретное – оживал, оторваться не мог. Пока он ел, Ник потихоньку ушел. Приходил сказать доброе слово, оставил вот яблоки – что еще? О чем бы им говорить долго – о Сиде? Чтобы снова встало поперек света все, чего не изменить и не отменить? Келли глубоко вздохнул, в груди отозвалось с хрипом, но уже без боли. Без боли, так. Сидя свое получила – провела по темной дорожке, что там было, чем откупился – но отпустила ведь.

Переждал вдох-выдох – не навалится ли кашель – и потянулся за еще одним яблочком от Ника.

Три дня спустя Марч потихоньку от врачей принес на сверку ежемесячный отчет, и Келли окончательно вернулся на круги земные. Оказалось, что клуб не работал три дня, и еще за три дня почему-то не было выплат персоналу.

– Ну, ладно один день, – Келли тыкал ручкой в график, – это мы все были в отпаде... А три-то почему?

– Работал Ник.

Келли остро взглянул на помощника. Марч был почтительно серьезен.

– Ох. Ладно. Не окошко стеклить, понял. Хоть фотку бы принес... ну, теперь уж не суешься, через неделю выйду, сам погляжу. Но это что – почему за эти дни выплат нет?

– Ты болел.

– Я уже три недели болею.

– Ты... совсем плохой был.

Келли швырнул график на постель.

– И что с того? Марч, да тебе детский сад доверить, а не клуб! Шесть дней убытков, черт, черт! Ты же отлично знаешь, сколько мы должны, за аппаратуру еще, теперь Нику... Господи, вот послал ты мне работничка!

– Насчет Ника – не знаю, он сказал, что сочтется через Ланса, я ему не платил. А за аппаратуру половину долга я вчера перевел, как договаривались.

– Ох, молодец. Хоть что-то. Но выплат-то какого черта нет? Вы все-таки работали или что?

– Келли, да работали, люди только сами от зарплаты отказались...

– Ничего себе! Эй, погоди... Да вы... небось на похороны скидывались, идиоты хреновы?

Марч покачал головой.

– И что ты корчишь из себя, Келли? Тебе не стыдно?

Келли исправил суммы, подписал отчет и вздохнул:

– Стыдно, Марч, а что делать? А вот возьми я да умри все-таки? Подумать страшно, во сколько бы обошелся мой холодный труп...

– Да я уже прикидывал, – невозмутимо отозвался Марч. – Гроб, свечи, служба...

– Вот уж я без этого бы обошелся...

– Цветы...

– Розы, угу. Только не красные.

– Арабия, знаю. Креп...

– Это на кой?

– Зеркала занавешивать. Всю стену. Так положено. Поминки, перевозка, землекопы... Ну, и минус еще один полный рабочий день. Стоял бы твой гроб в холле, весь в этих чертовых розах... и пол-Хобарта пришлось бы прощаться! Келли, сукин ты сын, да ведь о тебе никто плохого слова не скажет!

– Не могу, – Келли простонал в полотенце, хрипло захохотал, – либо хорошо, либо ничего? Марч, да я ведь живой еще! Ладно. Вот что я тебе скажу: не умеешь ты устроить мне правильные похороны. Музыку забыл.

Марч развел руками.

– Симфонический оркестр? Можно прямо из Сиднейской оперы, для тебя не жаль...

– Размахнулся! Всего-навсего народный квартет.

– Это еще для чего?

– Плясать.

Марч выпучил глаза. Келли сел в постели, нашарил тапочки, объяснил с самым серьезным видом:

– Так у нас полагается, не слыхал разве? На поминках пляшут, чтобы покойник знал – и без него проживут, и шел бы себе искать яблоневые острова, а к живым бы почем зря не шлялся. Понятно?

Помощник отвернулся к окну.

– Да уж. Тогда пришлось бы еще святой воды приписать – тебя, я думаю, никакими танцами от «Сиды» не отвадить.

– Я тоже так думал, – Келли возвысил голос, заплескалась вода. – Но сдается, вы по мне уже в каком-то смысле отплясали.

Повесил полотенце через плечо, подошел к Марчу – тот все глядел в окно на дальние холмы.

– Да и остров яблоневый, получается – вот он.

Я боюсь, что ли, подумал Келли, выходя из джипа. Его все еще бросало в пот, а о платке не позаботился – вытер лицо рукавом свитера, так из-под руки и взглянул.

Такая же!

Нет. Совсем другая. То же нежное лицо, темные длинные глаза, золотые волосы, платье синее, и так же сидит в зеленой траве – листик к листику, но та, прежняя, в сумерках сияла бы тонко, подсвеченная изнутри, а эта – мерцала бархатисто, плотно. Келли запрокинул голову, вглядываясь, и понял – мастер написал ее заново, как картину, на толстой пластине полупрозрачного стекла.

И она была – с яблоками!

Конечно, он заметил это сразу – такое не пропустишь, но сначала старался понять, как сделано – и все-таки про яблоки не разгадал. Одно под рукой, другое в подоле, у колен, у ступней босых ее ног, и еще – над головой, над плечами бело-золотыми. А неразгаданное – вот: волнами краски, что ли, проступали на пунцово-красных, пурпурно-черных боках – глаза и губы, глаза и губы... Тянулись к ней, касались ее, смотрели на нее.

Это правда, подумал Келли, так и есть. Я сам такой. Это моя Сиды, сестра моя – но, черт возьми, как он-то догадался?

Оглянулся – Марч стоял за спиной, помалкивал.

– Ну, с Богом, – Келли взялся за медную ручку двери. – Свои двести Ланс заработал, а остальное, – посмотрел еще раз наверх, – не его забота. Телефон-то тебе мастер оставил? Нет? Пойду, из сукиного сына вытряхну.

### Билет до Дублина

Ничего не складывалось как надо. Все рассыпалось. Сидя, жизнь, память...

Сидя новая, замечательная – поди-ка, разбей! Болел, выжил – а мог бы и в холодную землю лечь, «калифорнийская красавица» оказалась жестока. Память? Она и раньше-то ласковой не была, не привыкать...

И все же Келли подъезжал к мосту через Гордон в неизбывной тоске. Думал, до чего раздражает Австралия – весна осенью, дождливая сонная зима – летом. Думал о том, что вот картину Одудо («Партеногенетика», шла за двадцать, отдали за восемьдесят) – перехватили бойкие мальчики из «Боуи Гэллери», деньги вот целы, а на что они – деньги? Еще один клуб учинить? И с этим забот хватает, долги выплатил – хорошо, а новый? Ну, был бы кто – тогда куда ни шло, подарить любимому человеку... ничего себе подарочек, так ведь все равно некому... Никого нет – и поморщился привычно. Нет-нет-нет.

И – что это?

Сто раз проезжал тут, сто раз – отчего же теперь, на этом «нет-нет-нет» резануло: в линиях моста – скрещения стальных полос, острых, сверкающих на солнце лезвийной заточкой... в ритм попало, что ли?

Клетка. Настоящая стальная клетка. Не выйти, не вырваться, только резать...

Впереди и сзади потихоньку, на второй, ползли автомобили – мост был старый, узкий, никто бы не позволил Келли остановиться, перевести дух, сморгнуть наваждение. Он продолжал двигаться, бездумно... и глаза, слепнувшие от тоски, шарящие по пятнам плакатов и лозунгов над шоссе и около, поймали вдруг...

Teacht.

Возвращение.

Нет, это вопросительный знак! То есть – Teach. Дом.

Откуда здесь... Почему гэльский? Как такое может быть?

А, черт, это английский же... Do you teach with inspiration?

Учишь... как ты учишь... вдохновенно...

Глупости-то какие, что ты... учишь... возвращение... домой... Но дома нет, куда возвращаться, учить – чему? Кого? Вдохновенно?!

Teach.

Teacht...

Он пропустил поворот к порту... Остановился в каком-то тупике, сидел, зажмурясь, и видел одно:

Дом.

Путь назад.

Отделаться невозможно – языки смешались, путь домой... Эрин...

Так Келли стал собираться домой. Выждал время, поговорил с Марчем. Друг Эван изумился, возмутился – что тебе, плохо тут? Но Келли сказал, что дело не в том – плохо, нет ли... а вот «Сидя», Марч, будет тогда твоя вся...

Марч подумал, посчитал – основательный! – и согласился.

Но в глубине души не очень верил – даже когда они с Келли бумаги подписывали на передачу... Келли и сам себе не очень верил, но получил первый взнос от Марча – и три дня спустя на столе уже лежали билеты.

Хобарт – Сидней – Пунта-Аренас – Сантьяго.

И дальше – до Дублина.

Устроили прощальную вечеринку – для тех, кого от сердца отрывал, уезжая.

И все думали – за столом скажет – я ненадолго, туда и обратно, или хотя бы объяснит, что за стих нашел? Но Келли виду не подавал, что понимает – от него признаний каких-то ждут, слов, ясности.

Жена Марча, Патриция, не вытерпела – утащила Келли в коридор – поговорить. Но напрямую спросить – не получалось, не тот Келли был сегодня.

– И кто теперь мне скажет: «Падригин, мо хара»?

– А что? Будешь скучать?

– Это было... забавно.

– Ты же научила Дуду. Вот он и будет.

– Дуду – глупая птица. А ты – мой друг. Наш друг.

Келли посмотрел в стакан, поболтал соломинкой.

– Ничего, *Падригин, мо хара*. Это пройдет.

– Господи, Келли, какой ты странный... Ну, хорошо. Пусть тебе надо ехать. Но почему так? Отдал Эвану клуб...

– Не отдал, а продал.

– Да Бог с ним. И дом продал...

– А дом я как раз отдал, – полез в карман, вытащил визитку, – ох ты... Общество защиты прав диких животных, м-да... это потому, что прислали такую девушку симпатичную...

– Келли, я просто поверить не могу. Вот мы сейчас... ну еще час, два, три – допьем, доедим, допляшем... а потом?

– Пат, ну что ты... Со зверолюбамы я договорился, не бездомный, переночую, а утром рано – на паром.

– Вот именно! Келли, ты в самом деле не собираешься вернуться? Это же твой клуб!

– Не мой, а Эвана. Он справится, не волнуйся.

– Да знаю я, что справится, я не о том... Это же кусок твоей жизни, разве можно вот так?

– Вот именно, Пат, – он поставил стакан на подоконник, осторожно разогнул ее пальцы – чтоб не стискивала локти, будто от холода, отпустил ладонь. – Все правильно ты говоришь. Кусок. И еще кусок. И там. И тут... А жизни-то и нет.

– Значит, ты думаешь, она где-нибудь там тебя поджидает? Вся такая цельная и готовенькая? Как ребенок, ей-Богу!

– Да нет, Пат, не ребенок. Уже нет. Но и оставаться я тоже... не могу.

– Потому что это – чертова дыра на краю света?

– Глупости. Какая еще дыра – в наше время... Но есть люди, которых я должен увидеть снова... есть.

Как я объясню тебе, думал он, как расскажу – тоска: пять лет с привидением. И Сиды... и надписи на мосту.

– Так увидишь, и вернись! Зачем так – раз, и все, и наповал...

Келли покачал головой.

– Пат, я и сам не знаю. Но сделал, что сделал, и это правильно. У вас тут корни, а я пришел и ушел. Ну, только не надо, будто я святой или добрый волшебник, или что у вас тут до меня была проруха, а я все спас, это же неправда?

Патриция сердито отмахнулась.

– Неправда, конечно, неправда. Но ты... зачем быть святым? Очень хочешь? Хорошим парнем тебе уже мало?

Келли улыбнулся, взял ее за мизинец, как маленькую.

– Спасибо, Пат. Больше, чем я заслуживаю, честное слово.

Марч выглянул в коридор, фыркнул: вот они где!

– Пат, Келли! Ну, что вы там!

– Иду, – тяжелым, словно сонным голосом отозвался Келли. Пат забрала руку, поехала.

– Идем. Идем.

Келли шел за ней, позабыв стакан на подоконнике, половина на половине – тут легкий, выбеленный, тут – свинцом налитый, не от «Джемисона» и не от горя – сам решил... Но будто ударило по горлу, когда почувствовал – никогда ему больше не держать за пальцы и эту женщину, подругу, о которой и подумать нельзя ничего, кроме – светлая... С ее Марчем, с ее вареньем из мелких яблочек, с их девоньками – Мэри постарше, Джоанна помладше...

– А это – специально для тебя!

Замер у входа – узнал мелодию...

Оба в черном, только у Тераи рубашка расстегнута – ну, не может закрываться! А Дэф правильный, и светлые глаза его еще светлее от черноты...

И ударили оба. В одну ногу, потом незаметно, легко перекинулись с правой на левую, пошли вышивать, выкладывать...

И за руки взялись.

И друг к другу повернулись.

И снова к нему – плечами не поведут, только ступни разговаривают...

Келли очнулся, отлепился от стены... плевать, что ботинки – не звонко, в три шага проскользнул к помосту, взлетел, ворвался между Дэфом и Тераи, взгляд налево, направо, сложили ритм...

О-о-о-о!

Ну-у-у!

Давай, давай!

Все. Поклонились в зал. И друг другу. Дэф, счастливый – он всегда счастливый, когда в танце, выговорил, почти не заикаясь: «На добрый путь...», Келли прижал к себе светлую голову, выдохнул: «Бог с тобой, Дэф, спасибо...». Тераи улыбался. Он подставил лицо, золотое лицо божка, и Келли в одно касание скользнул скулой по щеке. Давно не плясал – сбилось дыхание, и теперь просто сел на сцене, свесил длинные ноги в зал, развел руками.

Мастер Микаленич одобрительно вертел головой, цокал. С ним сидели три племянницы, и Келли спрыгнул, по пути нагнулся за стаканом – как не выпить с Ником, с Маричкой, Ксеной и Прис?

– Ну, едешь, – пропыхтел Микаленич, – ну, даешь... Ох, далеко моя Украина, да и сам я тут... как то дерево...

Маричка улыбнулась. Ксена похлопала дядьку по могучей спине, выглянула хитро из-за плеча. Прис обрывала виноградную гроздочку, смотрела грустно. Она была самая старшая – годами, наверное, как Келли, – незамужняя дева-людовед.

– Не буду там, наверное, Ник... Далеко. Да и не к кому...

– А к старшему брату мог бы, к Петру... хотя... Охо-хо, тридцать лет прошло, нету там и Петра уже, наверное, давным-давно. Так куда едешь?

– Сначала в Сантьяго... и в Вальпо. Хочу кое-кого повидать. Оттуда в Эрин, домой. А там – не знаю...

Вечеринка закончилась не слишком поздно. Невеселая она была, хотя и попели, и поплясали, и выпили... Келли проводил всех в дверях, потом вернулся – попрощался с обслугой, с теми, кто убирал в зале и на кухне. Так, будто завтра вернется. Этим ребятам было, в общем-то, все равно. Один босс уедет, другой объявится. Но – свои все же, хорошие работники, и без них клуба тоже не будет...

На крыльце его ждал Марч.

– Пат домой поехала. Чуть не плачет...

– Прекрати, Марч. Хоть ты-то...

– Я-то... Смотри, что ты мне на шею навьючил, – и кивнул на трехэтажное, темно стоящее в ночи здание. Только Сиды над парадным входом мягко светилась – теплая Сиды мастера Микаленича.

– По-моему, неплохо. Ты что же, домой пешком пойдешь?

– Я у тебя переночую.

– Ты что? С Пат поругался?

– Она... велела. И я сам. Келли...

– Ну, Келли... С ума посходили... А она там тоже будет... реветь...

– Никто не будет. Я уж – точно. Келли, мы же больше не увидимся, так?

– Ой, ерунда! – Келли запахнул куртку и решительно сошел с крыльца. – Адрес же я тебе дал? Надо будет – напишешь. Я и сам тебе первый напишу ... И вообще, Марч, ну что ты? Мы же не дети. И не девицы. Ну, я решил уехать. Я почти двадцать лет не был дома. Матери под семьдесят, а я у нее, считай, один остался. Пошли. Ну, ты же не хочешь тут со мной ночевать, на крылечке?

Марч нервно рассмеялся и сбежал следом.

В дому было гулко, жутко, хотя все почти оставалось на своих местах – на удивление мало увозил Келли с собой из Хобарта, всего одну сумку через плечо. Все прочее – книги, картины, керамика, даже одежда – уходило защитникам животных. Даже простыни, которыми Келли застелил кушетку для Марча.

Но зря стелил, потому что и легли, но не спалось, и говорили всю ночь. Тихо, то о делах – как и что, и Марч вроде оживлялся. То Келли, чувствуя, что вот-вот начнет вспоминать то, чего не стоило, принимался говорить про Эрин, и Марч тогда выпрашивал, как живут там, и сокрушался, что вот у Пат прабабушки-прадедушки с Изумрудного острова, но не выбраться. На другом краю земли, вздыхал он.

Да, отвечал Келли. На другом краю.

И про надпись рассказал, чтобы дружище Марч понял, какие знаки заговорили, как нельзя было устоять... Конечно, Марч понял бы и ту правду, что под знаками – ту, из стальных полос-лезвий. Но что было лишнее раз резать по живому?

Когда уже стало светать, Келли, обессиленный этой странной ночью воистину дружеской любви, подумал ни с того ни с сего – не будь Марч просто другом, мужем красавицы и умницы Пат – тоже просто подруги, отцом – Господи, любил бы, как...

Нет, не как самого себя. Потому что себя...

Но любил бы так, что смог бы остаться.

О Господи, прошептал беззвучно, поворачиваясь на бок, чтобы хоть простынями согреть сердце, – что ж ты мне посылаешь-то... или ангелов, или чьих-то... или шлюх.

Потому что сам ты – старая ирландская шлюха, отвечал суровый Господь. Или большая совесть, которую не засластишь яблоками.

Нет, никак не хотели его отпускать. Притащились на причал – сонный Марч, грустная Патриция с зевающими от холода девочками, дядька Ник, с ним бледная, как сыворотка, Прис. Дэф и Тони пришли, слава Богу, Тераи не явился, и без того весь набор... Келли в сотый раз всех переобнял, почмокал в щеки и макушки, подхватил сумку. Он бы с радостью послал их всех к черту, потому что мечталось уйти совсем не так – а тихо, спокойно, как выходят из дома – и все... а тут будто на войну его провожают, всей семьей с родственниками... Сказал, чтобы не ждали, пока паром отойдет – раннее утро, сырость, девочки застынут. Пристроил в салоне сумку, вышел на другую палубу, поглядел на море.

И увидел краем глаза, как смотрит на него с верхней площадки паром женщина в синем свитере. Смотрит – и яблоко уписывает. Яблоко ест – и смотрит...

Так и началась дорога домой – с одного слова на двух языках и с неотступной Сиды.

До Сантьяго, однако, добрался без особых приключений. Сначала был Пунта-

Аренас, аэропорт на далеком юге, выстуженный весенним ветром, потом уже – столица. Город выглядел неплохо: люди бодрые, везде государственные флаги – будто праздник какой. Келли собирался позвонить Бо – единственному, кто, как он надеялся, мог быть здесь наверняка. Но от перелетов он слегка одурел и, добравшись до города, сидел какое-то время в кафе недалеко от центра, тупо разглядывая прохожих. Среди них было немало военных. Но если бы не это... Кофе был такой же точно, и цветами пахло так же сладко, и незабытая речь мелодией плескалась вокруг. Ни следа войны или насилия не было заметно, город будто смеялся ему в лицо – какие еще уличные бои? Какие беспорядки? Какие еще танки, да ты бредишь... Келли и вправду с трудом отгонял от себя дурацкую мысль о том, что эти пять лет ему только померещились, что никуда он не бежал сломя голову, и – кто его знает – может, и Симон не пропал без вести, может, и Сиды была только тенью совести, а не гостьей с той стороны... Вот же дьявольщина, только вспомни о ней, и вот, невероятная в этой стране брюнеток – идет мимо рыжая, слава Богу, не та, и не она, и не в синем платье... Женщина прошла мимо Келли, окинув его между делом холодным взглядом – так, что аж передернуло... Зато он скинул оцепенение и пошел искать телефон.

И надо же – и номер работал, и даже Бо снял трубку. Келли вздохнул с облегчением, услышав его знакомый глуховатый голос. Звонку фотограф как будто обрадовался, но на встречу согласился не сразу. «Я бы лучше сегодня не выходил», – сказал он как-то почти жалобно. Но Келли пояснил, что завтра уже его тут не будет, поэтому, если Бо не умирает от какой-нибудь редкой болезни, то неплохо было бы повидаться. «Ладно, – согласился Бо наконец. – Ты где? А, там и жди, я скоро буду».

Бо Финне узнал Келли со спины – по осанке, по манере держаться, по тому рисунку тела, который невольно привык схватывать. Но внешне старый приятель изменился и казался старше своих лет, – может быть, из-за короткой черной бороды с заметной проседью. Да и сам Бо не остался прежним бодрым юношей – он стал плотнее и тяжелее, волосы сильно поредели, и на пальце у него было обручальное кольцо.

– Все-таки глазам не верю, Келли! До чего ж я рад, что ты живой! Как тебя к нам занесло?

– Да что мне делается? С чего бы мне не быть живым?

Бо как-то разом помрачнел и быстро, как бы украдкой огляделся из-под дымчатых очков.

– Забыл, что ли, что у нас тут творилось? Я поначалу думал, что и тебя... прихватило.

– Да не, я смылся же, помнишь... предупреждение мне было... Ну, само собой, кое-что про ваши дела доходило, но... я не очень следил. Но сейчас-то вроде как все нормально, нет?

– Ну... Слушай, Келли, давай куда-нибудь в другое место пойдём, а?

– Что?

– Ну, тут военных слишком много. Они, конечно, святые наши спасители, но...

– Да я и сам смотрю, у вас парад тут, что ли, какой-то?

Бо посмотрел на него так, как будто Келли был не в своем уме.

– ПРАЗДНЕСТВА у нас, – сказал он, и Келли, наконец, сложил два и два и сообразил, какое сегодня число. И кивнул.

– Слушай, а «Апельсин»-то еще работает?

Бо усмехнулся. Выражение привычной боли у него на лице смягчилось.

– Ну, вроде да. Поехали?

«Апельсин» был на месте и даже работал. И даже людей в форме там почти не было – какой-то кадет угощал девушку, оба смеялись, вид у них был счастливый и глуповатый.

– Твоим, понятное дело, рано еще, – Келли кивнул, имея в виду обручальное кольцо.

– Конечно. У меня дочери два года всего. А ты как?

– Я? Ты меня плохо знаешь, что ли, Бо?

– Ох, и вправду. Ты все с парнями.

– С девушками тоже, – улыбка сошла с лица Келли. – Если честно, Бо, я рад, что у тебя есть семья. Так мне уже это все надоело... Весело, конечно, но... Смысла нет, понимаешь? Был бы у меня кто-то... дороже других, разве бросил бы я все и поехал бы опять куда глаза глядят? Хотя, может, это последний раз будет, потому что я домой возвращаюсь.

– Домой?

– Да, в Эрин. В Ирландию.

– Бог ты мой, да это же на краю земли!

– Угу. Но там матушка, старая она уже... Про Пэдди давно не слышно ничего, вроде в Штатах где-то, а младший – ты младшего-то, Дихи, помнишь?

Бо кивнул, вспомнив «дитя эльфов».

– Дихи почти сразу того... Я его с собой было взял же, но он какой-то чертовой химии наглотался, не вычихался... Поэтому я у матушки теперь один. А еще у меня замысел есть один, сумасшедший немного, но... Хочу там, в Слайго, построить школу. Танцевальную. И работать там.

– Школу?

– Ну да. Деньги у меня есть, опыта хватает, и если в таком медвежьем углу, как Хобарт, я с нуля приличный бизнес сделал, то и дома сумею. Пусть бы дети учились и не уезжали. А то у нас там кое-где просто пустыня будет – все либо в Америке, либо в Австралии, наших во всем мире втрое больше, чем дома, таем, как соль. Ну, и я же помню, как оно там жить – или фабрика, или порт. Или пиво, или виски, а лучше и то и другое. Ну ладно, у меня еще вечно было шило в заднице, так я сбежал... Ну и выжил, а мог бы и нет. Короче говоря, тоска у нас там. А танцевать любят и умеют, ну и все-таки какой-то шанс, что ребенок не будет шляться под заборами, драться и вообще... Не наделает всяких дел, а наоборот, может, даже и добьется чего путного. Странная штука, – тут он прыснул, но смех это был не очень веселый.

– Что странно?

– Что, может, и у меня там дети есть. Если живы, так должны быть уже почти взрослые совсем.

– В Ирландии?

– Ну да. Я же наверняка успел там кое-кому заделать... Вот черт, надо будет там поосторожнее с молоденькими.

– Ох. До чего же ты бесстыжий, Келли!

– Вот и он так говорил.

Стало тихо. Невыговоренное имя словно повисло в воздухе, как табачный дым.

– Что с ним случилось, Бо? – наконец спросил Келли. – Знаешь что-нибудь? Скажи мне, пожалуйста...

Бо Финне устался в пространство куда-то мимо плеча Келли. У него слегка подергивался уголок рта.

– Думаю, он умер, – сказал наконец. – По крайней мере, Келли, я хотел бы так думать.

– Что ты имеешь в виду?

Бо потер лоб левой рукой, и Келли вдруг увидел, что два пальца на ней не гнутся.

– Я с ним виделся в последний раз уже почти перед самым... перед тем днем. Он тогда забрал у меня пленки – я «танкистов» перед этим снимал и другое еще там кое-что... и просил, чтобы я больше не фотографировал в городе – опасно.

Потом я слышал, что его вроде бы арестовали в первые дни, что он был на стадионе – у нас тогда многих же там собрали. Но некоторые вышли, а потом... Снова сгинули. Так и он. Я запросы делал, понимаешь... Официальные. Насколько было

возможно. Ну и некоторых родственников расспрашивал, ты же знаешь, у нас семья была не из последних... Ну, и узнал только, что вот тебе говорю – что его арестовали, потом выпустили, а потом он исчез.

– Но почему ты думаешь, что он непременно...

– Потому что. Потому что, когда я стал, видимо, ну... очень настойчивым, что ли... пришли за мной. И знаешь, очень так мне наглядно объяснили, что ничего разузнавать и расспрашивать не надо. Что для меня – и для всех родных моих – будет лучше считать, что человек, которого я разыскиваю, вообще никогда не существовал. Это мне мой собственный дядя пояснил, Келли, матери моей младший брат. А потом... Потом они меня просто били. Несколько дней. Спать не давали. Руку сломали, ребра. Запугивали. Не знаю, что он такого натворил, почему так. Но из-за того, что я там видел... лучше уж думать, что он умер.

У Келли засосало под ложечкой. Он смотрел на Бо Финне, на Бенедикта Карре, парня из хорошей семьи, которого приказал пытать собственный родственник только потому, что он решил спросить... Хотел узнать... Он не знал, что сказать: «Тебе больно?», «Тебе плохо?», «Сочувствую?» – и к тому же начинал потихоньку понимать, что видит, похоже, вестника из ада.

– Боже мой... Боже мой, как же ты с этим живешь?

– Ну, так и живу, – Бо даже улыбнулся. – Один я такой, что ли? Живу. Девушек фотографирую в модельной школе. Цветочки там всякие. Счастливые города, избавленные от коммунистической заразы. Ну и все такое прочее. Матерей, – добавил он почти одними губами. – Женщин. У которых никого не осталось. Просто смотрю. Просто... Это так странно, Келли. Я из тех людей, которые должны бы быть счастливы. Ведь их же вправду спасли... От... Ну, не знаю, от чего. Кого-то от потери прибылей, кого-то от душевных, скажем так, страданий – ну, потому что «простые» слишком при власти... Но я... Что-то никакого счастья не испытываю. Наоборот, знаешь... Как-то и жизнь не очень складывается. У нас в каждой семье почти есть и пострадавшие, и те... Ну, которые с другой стороны. Люди разделились, судьбы разделились... Да и не в том даже дело. Если мне так явно показывают, что я должен забыть такого человека, как он...

Келли кивнул.

– Я думал, что готов был за него умереть, – выдал он наконец. – Но, видишь, не умер. Я сбежал, Бо. Позорно сбежал.

– Твоя жизнь бы его не спасла, – отвечал Бо. – Ты же видел, у него своя была. Другая какая-то, тайная, никто о ней не знал. Может, он из-за нее и погиб. Было в нем что-то такое... Больше, чем можно было увидеть. Ничего бы ты не сделал, Келли. И я ничего. И все, что могу – это помнить его, и тем яснее, чем сильнее его из меня пытались... вытащить.

– Помнить! Боже мой, да он же как будто в воздухе растворился, как будто я им дышу, понимаешь? Но нет места, где бы я мог сказать – да хоть бы и тени его – Симон, я пришел, я вернулся хотя бы проститься...

– Нет. В этом городе ты ничего такого не найдешь. Я сам обычно езжу в Вальпо, когда хочу его вспомнить.

– Почему? Хотя... Он же начинал там.

– Не поэтому. Там, говорят, было такое место – никто точно ничего не знает, но говорят, что многих заключенных держали там... Я бы не хотел, знаешь, рассказывать... Я просто еду и сижу там возле океана, смотрю и как будто с ним разговариваю.

– И я тоже, – сказал Келли, чувствуя, что горло совсем сжимает. – И я тоже.

Они даже успели это сделать – до самолета оставалось еще много времени, и они успели. Правда, ничего особенного не произошло – была долгая дорога, которую Келли хорошо помнил, вся в цветах национального флага, был холодный весенний океан и ветер, запах горных склонов, еще не очнувшихся от сухой зимы... Бо все помалкивал, а Келли чем дальше, тем сильнее ощущал что-то такое нестерпимое, чему не мог даже найти слов.

Как будто он, со всей этой своей пламенной любовью, был виноват перед Бо, который прошел через муки и страх. Как будто Бо потерял больше, чем любовь. Как будто он со своей страстью был смешным рядом с этим парнем, который просто разыскивал друга, не возлюбленного, не звезду с неба, просто человека искал, а нашел такое, что не приведи господь...

Поэтому они просто посидели на берегу – каждый со своими мыслями. Бо, кажется, заметил, что Келли не по себе. Он не сразу решился нарушить тяжелое молчание, но все же сказал:

– Знаешь, это ведь Симон мне сказал тогда, что ты... что ты, видимо, погиб, – он ведь и тебя разыскивал, но у тебя дома было все перевернуто вверх дном, квартира брошена, никого... Разорение полное. А я вспомнил тот... Ну, тот твой приступ, видение, что ли... Ну и я тоже думал, что ты, наверное, страшной смертью... А потом письмо получил.

– Ну да, – Келли скривился. – Это же девушка та, рыжая, ну, помнишь? Та, что с ним в «Апельсине» была. Не знаю, как это вообще объяснить. Плохо я с ней обошелся, прямо как идиот поступил, скажем честно, обидел я ее, Бо, но она меня... предупредила, что ли? Я ее с тех пор иногда как будто вижу наяву... И потом вечно что-нибудь случается... Не он меня спас, а она. Ну, такое трудно в голову уложить, в общем. А она-то жива? Или ей тоже не повезло?

– Я не знаю, – сказал Бо. – Я ее сам видел только тогда, когда ты мне их показывал, а потом уже – больше нет. Да не надо и говорить ничего, Келли. Ты жив. Я жив. Это, в конце концов, разве не лучшая для него память? Как считаешь?

– Наверное, – сказал Келли. – Наверное, так.

В аэропорту было тихо, странно – ни прибытия, ни отправления... бывают, видно, такие передышки, но Келли принял это так, будто и здесь – никто не ждет и никто никого не встречает. Рейс до Дублина откладывался до утра – самолет с той стороны не прилетел.

Он устал, можно было пойти в гостиницу, там ему полагался номер и ужин... но в пустом зале ожидания сидела, склонив голову, в своей стеклянной клетке девушка из «ЛАН».

Келли подошел, она оторвалась от книги – чем могу помочь?

Я... (опять все сначала!) я... хотел бы обменять билет.

Какой билет? Куда вы хотите улететь?

Билет... до Дублина. Я... хочу (вернуться?)... мне нужно... на юг. Сидней или Аделаида...

Это очень далеко, сказала она, встряхивая челкой и улыбаясь. И расписание не самое удачное... Послезавтра – вас устроит?

Устроит, чуть было не сказал Келли – но это же... еще один день здесь, никуда нельзя будет пойти, хоть и не так больно уже – но это другое, по-прежнему стыд, будто виноват перед городом, и перед Бо, и перед той, в синем платье...

А эта, в небесно-синей униформе, поглядывая на недоеденное яблоко рядом с книгой, переспросила: столько-то в долларах – вас устраивает?

Конечно, они вроде будут рады... но Марч смутится, это точно, потому что клуб уже его, и что же?

Снова один, снова все сначала, и никого нельзя будет любить, потому что как любить того, кто не любит сам себя, как любить того, кто всегда бросает и предаст...

Нет, пожалуйста, извините, сказал он. Я передумал. Слишком далеко.

Хорошо, отвечала дева-судьба, тогда вот он – ваш билет до Дублина.

Он не пошел спать в гостиницу, до рассвета просидел один в зале, где туда-сюда сновали прилетающие и улетающие. На жесткой дырчатой аэропортовской скамеечке, будто на покаянном сидении ночевал, чтобы себя горше наказать – а за что, еще и сам не знал. Все как-то образуется, твердил себе и сам не верил. Что-то будет. Как-то будет.

Вот только дайте домой добраться.

## На последнем берегу

Наконец-то старой Роуз О'Шонесси повезло. Она все надежды на старшего возлагала, но уже сколько лет не было от него вестей – ни добрых, никаких. И тут этот средний явился как гром среди ясного неба, вернулся, когда уж и не ждали, – и ты смотри еще, настоящий джентльмен с виду, и при деньгах, будто все самые безнадежные материнские мечты взялся исполнять: «Матушка, негоже вам под старость быть совсем одной», и все такое прочее, и еще смотри что учудил, школу там какую-то затеял... У мэра-то глаза сделались, как у кота, конечно, денежки сами в руки ползут... Храни тебя Мария, Иосиф и святой Патрик, сыночка мой, всегда ты был сорвиголова, ни рук, ни языка не мог удержать, да и кое-чего другого, кажется, тоже... если правда то, что бесстыжая Энни МакГиллик всем развонила, будто ее Кейтлин – Келлина дочь... Хотя, когда исчез ведь, двадцать лет назад-то почти, ох и злы тогда были МакГиллики, но, в конце концов, не первая Энни и не последняя, кто по глупости парню поверил, а был то ее средний или еще кто... Упаси Боже мальчика моего от страшного греха, а с остальным он сам разберется, ишь, какой он у меня толковый оказался, и не думала, и не гадала, что из этого разбойника такое будет матери на старости лет утешение...

Келли О'Шонесси тоже должен был бы сегодня быть счастлив. Он наконец-то подписал соглашение с городом. Понятно, не через полгода, но месяцев через девять, самое большее – через год будет у школы свое помещение, а уже через несколько недель можно будет начинать занятия в рабочем клубе – для начала сгодится, а так он сейчас все равно без дела стоит, почти заброшенный. Родители детей помладше и некоторые подростки уже приходили к Роуз, расспрашивали. Танцы – это серьезно, они понимают. Шанс на другую жизнь. Не обязательно на лучшую – просто на другую. От этих мыслей Келли должен был бы преисполниться энергии и надежды, как всегда было, когда он начинал что-то новое, но сегодня он чувствовал себя усталым и тосковал. Они с мэром выпили немного, чтобы обмыть договор, но не столько, чтобы вот так впасть в мрачный хмель. Поэтому Келли решил, что ему не мешает прогуляться вдоль берега. Он шел себе на северо-запад вдоль узких улиц и домишек, а потом началось побережье. Был отлив, тут и там из мокрого песка торчали обломки скал и просто валуны. Чья-то полусгнившая посуда наполовину ушла в песок – она тут лежала, судя по облупившейся краске, добрых лет десять. Клубки водорослей, старые рыбацкие сети, всякий хлам... Келли осторожно прошел мимо этих жалких даров моря. Ему хотелось сесть – но не на песок же! Он взобрался на первый попавшийся камень и устроился там, не думая о дорогом костюме и светлом тренче. Ему нужно было побыть наедине с морем, так, как привык в последние пять лет. С морем – и с тем, кого уже не было в живых.

Вот видишь, Симон, сказал он, щурясь от ветра и чувствуя, что левое плечо грызет тупая боль. Видишь, вот я и дома. Я все сделал правильно, любовь моя. Наконец-то я сделал что-то правильное, но... Но почему я не радуюсь? Никто, конечно, не ответил. Ты никогда не отвечаешь, Симон. Ни пока был жив, ни сейчас, когда почти наверняка известно, что ты умер, и умер ужасной смертью... Я и сам чуть концы не отдал полгода назад, но это ерунда. Теперь я буду жить, но боюсь, что не видать мне и вправду радости – потому что я снова один. Боже мой, Симон, я же трахался, кажется, чуть не с целым оркестром и двумя футбольными командами, я счет потерял тем, кто был со мной – и где они все? Почему я снова один как перст? Почему у меня в этом году будет две зимы? Какого дьявола? Я вернулся домой, и знаешь, что они говорят у меня за спиной? Что я чуть не трахнул собственную дочь! Допустим, я ей только улыбнулся... Но... Это же просто гадко все так... Городишко мерзкий. И сам я мерзкий. Люди невыносимые –

подозрительные, ненавидят все подряд, а я и забыл, какого черта я от них сбежал... Святые силы небесные, у меня же друзья были... Некоторые вон даже плакали, потому что я уехать решил, так зачем же я вот это все сделал, вот это – правильное? Хотел себя, что ли, наказать? Какого черта я всю жизнь бегу за этой мечтой, как за дурью: вот сейчас, ну вот уже точно сейчас добегу, достану... Ох ты ж черт, больно как – небось, мышцу застудил, теперь вот все так и будет – стану старым вялым занудой, может даже женюсь, только возьму кого постарше, за тридцать, чтобы уж точно наверняка не мое семя было...

Почему мне так больно, Симон? Ну не молчи же, мертвая моя звезда, призрак мой, горе мое – не достать, не дотянуться, Подсолнух мой... Где те, кого я любил? Где, мать их, те, кто меня любил?

Кто здесь?

От ветра (а может, от боли, которая понемногу росла в нем и теперь словно когти выпустила) у Келли слезились глаза, и белый свет немного потускнел, что ли, – но он и вправду будто видел их: Пат с девочками, Марка, доброго мастера Микаленича, он даже подумал, что видит его самого, белокурую фигуру, улыбку... Но все они отворачивались и уходили прочь, таяли, а вместо них из мерцающего, как в телевизоре, серого света вышли шестеро.

Убийцы.

Он узнал их – по нестерпимому блеску на раскладных лезвиях, по красным огонькам окурков в углах одинаковых ртов, по стеклянным, как морская вода, совершенно пустым глазам.

Нет!

Нет.

Келли тряхнул головой и невольно охнул – это тоже было больно. Морок, правда, немного развеялся, и он увидел, что вокруг камня прибывает вода. Начался прилив! Он выругался, потому что застрять здесь, – нет, сидеть тут чучелом как дурак, и чтобы рыбаки потом еще какие-нибудь стали спасать, отпуская соленые шуточки, – после этого уж и вовсе житья не будет...

Спрыгнул в воду – ее оказалось немного, дюймов пять, но она сразу полилась в туфли и была просто ледяная. Дыхание перехватило. Злость, гнев, страх.

Боль, тоска, отчаяние.

Но он знал, что должен идти, двигаться к твердой земле, потому что те... те догоняли. Он очень спешил. Он сделал несколько шагов, но вода тащила за ноги – такая холодная, что казалось, будто она поднялась до груди и давит, давит страшно. Келли споткнулся, зашатался и упал. Он еще пытался подняться. Он еще помнил, что нужно встать, идти или хотя бы ползти туда, где свет, но было уже поздно. Острые лезвия впились под ребра, зрение затянула кровавая мгла. И не было никого, кто спас бы его, кто отогнал бы этих – ни белокурого ангела, ни друга, ни женщины с добрыми глазами... Только тень мелькнула, и он отчаянно рванулся к ней – к золотому отблеску на темном, должно быть, синем фоне.

– Сиди! Сиди... – крикнул, но это уже была сплошная мука, никто не услышал, никто не смиловился, и что-то вдруг треснуло, словно стекло разбилось, и Келли увидел себя самого сверху и немного слева: он лежал ничком, неловко раскинув руки и ноги, прямо в приливной волне, пальцы хватили песок с водой... И вдруг он перестал понимать, что все это значит, слова и образы утекали из сознания, а вместо них тупая, страшная растерянность стала очень быстро поглощать его.

И рыжеволосая женщина в синем платье выпустила из тонких пальцев это... красное, круглое, хрустящее и сладкое, теплое, и оно покатилося из стремительно пустеющей памяти и рассыпалось горящими углями над западным горизонтом. А потом и они погасли.

## *Часть третья*

### *И роза...*

#### **5 дней, 6 ночей**

«Катерина... Катерина...»

Что это? Кто это? Где?

Она просыпается и не может проснуться, пытается откинуть сон, как одеяло, но рука задевает только шершавую побелку.

«Оооох... пожалуйста... пожалуйста... еще...»

– Что? Кто здесь? Что такое?

«Потрогай... что-нибудь...»

Она наконец просыпается вся – ну, или большей частью – в пустой серо-белой комнате, в пустом серо-белом предутреннем свете, – бледное лицо, серо-зеленоватые глаза – тоже еще полупустые. Длинный рукав длинной ночной рубашки – и он серовато-белый. Рука, сжимающая серое овечьей шерсти покрывало. Темно-рыжая, мокрая от внезапного пота прядь из-под туго повязанной на ночь косынки.

Женщина медленно приходит в себя – это трудно. В себе почему-то тесно. Там еще этот непонятный голос. Мучительно знакомый, но чей?

Она совершенно одна.

Пальцы медленно разжимаются, выпускают одеяло, и сердце подскакивает, колотясь чуть ли не в горле. Каждая ворсинка колет ладонь, все слишком ощутимо, по мышцам руки будто пробегает электрический ток. Я же не пила на ночь чай из сухих кактусов, думает она. Меня не кусали бешеные собаки, не слюнявили летучие мыши с мордами злых духов. Я не находила на себе боррелиозного клеща. У меня нет жара... кажется...

Она подносит пальцы к губам – старый способ, первым делом попробовать, не холодные ли, а потом приложить к шее – у ключицы, там надежнее, чем на лбу, но...

Но и это движение, простое и выученное с детства, ошеломляет ее – в изумлении она смотрит на руку, потому что ее рука не может быть такой... от ее прикосновения не может так бросить в жар, до сухого звона в ушах, сквозь который она снова слышит этот ужасный, невозможный голос.

– О... Катерина... какая же ты... живая...

Это было давно. Очень давно. В другой жизни. Той зимой, когда на улицы вышли танкисты... Их все-таки утомили, но Симон сказал, что это ненадолго, и так непонятно и страшно было – что делать? Симон сидел напротив и говорил буднично – как будто редакционное задание давал: уезжай, Катерина, Ката, уезжай сейчас же, завтра, послезавтра... денег я дам, если нужны, а на что деньги? Куда уезжать? Куда? На Север – не пустят, домой, за океан – в страну под красными звездами? Ждут меня там, а как же... Куда – не сказал, ушел... и оставалось только все это страшное запить чем покрепче и погорше...

И тогда откуда-то, из какого-то угла появился он.

Келли. Он сказал – меня зовут Келли, привет, красивая, в такое время не нужно сидеть одной...

О, думает она, замерев, чтобы ненароком не пошевелиться... А я была одна, одна-одинешенька, да еще и на пьяную голову... А этот... Келли... Он был нестрашный. Он не пугал, не говорил, что нужно принять решение, от которого все леденело внутри, – наоборот, в том холоде живым показался, и теплым... и горячим... И кто же знал, что так

выйдет...

Оказывается, я помню все, думает она, боясь пошевелиться и вызвать неизвестно откуда вдобавок к огню еще и голос... Неужели я правда помню... ЭТО ВСЕ? У него еще волосы были... вьющиеся... и... О Господи, Отче наш, ты, что на небесах, да святится имя твое...

По укоренившейся привычке она представляет, как слова молитвы вырастают вокруг нее, будто защита. Будто клетка, да. Но ведь как иначе сдержать весь наружный ужас, и этот вот еще, явившийся откуда-то, не иначе как из женской ночной памяти, и не введи нас во искушение, но защити нас от зла, ибо твои сила, Царствие и слава, ныне и навеки веков, аминь.

Свет розовеет. Где-то далеко, на краю земли встает Солнце. Как тихо. Как тихо. Это был сон.

– Катерина, – сон, сон, наваждение, голос человека, который когда-то пообещал ей, что ночь с ним она не забудет. – Что с тобой? Не бойся! Поговори со мной, Катерина!

– Я не Катерина, – слова вырываются у нее вслух, и, может быть, кто-нибудь услышит, но ей не до того сейчас. – Я сестра Кармела!

Ей кажется, будто внутри – в какой части этого нутра? – тяжело откатывается назад ледяная волна.

– Ох ты ж распротрекая чертовщина... Ты... монахиня, что ли?

– Нет.

– Но говоришь – «сестра»...

– Мирская. Третий орден доминиканцев. Тебе-то что до меня? Откуда ты взялся, Келли? Почему ты со мной разговариваешь?

– Помнишь мое имя, – это голос человека, умирающего от холода, когда ему внезапно дают в уже онемевшие руки бутылку с горячей водой, и он еще пока не чувствует боли, а только – что тепло... – Значит, я все-таки... не совсем...

– Не совсем – что?

– Не совсем... умер.

Умер?

Катерина задерживает дыхание. Жил там, в том городе и умер... Но как можно не знать, жив ты или мертв? Ох, всякое бывает.

– Послушай, – говорит она очень тихо и медленно. – Я не знаю, кто ты и что ты такое. Я не монахиня, но дьявольской работы я повидала достаточно. И знаю, что мертвые не говорят с живыми, а если говорят... то либо это от глубокого горя, либо дьявольское наваждение, либо в бреду. Горевать о тебе мне не с чего, и я сейчас со всей верой как следует помолюсь, и ты исчезнешь. А если ты бред, то... с этим, конечно, придется разбираться...

Она еще со страхом ожидает, что голос снова зазвучит (интересно, кстати, ГДЕ он звучит – в среднем ухе или сразу в мозгу?), но призрак не произносит больше ни слова. И обостренной чувствительности больше нет – она на пробу проводит еще раз ладонью по стене – но нет, стена – это просто стена, и рубашка – это просто рубашка, и ее тело и разум опять, кажется, принадлежат только ей. И когда мирская сестра Кармела встает на молитву – это снова просто молитва, а не огненный щит.

День начинается.

Еще один день той жизни, в которой, как она думала, ничего уже не будет прежним. Она сама позабыла себя прежнюю. Это какую? Ту, до пражских танков? Ту, до танков в другой столице? Ту, которая еще не мерзла и не задыхалась в горах? Которая не плакала часами в больнице миссии в Аргентине? Нет, это было уже по другую сторону, по настоящую, это памятно сердцу и телу, это – то, что есть. Это сестра Кармела. А Катерина – сон, детский, сладкий, каких уже не будет.

Спать ложиться тяжелее всего. Днем Катерина работает, двигается, смотрит и слушает. Она должна быть сильной, умелой и твердой. Она и учительница, и распорядительница, и врач, и мастерица. Старшая. Ну или хотя бы равная среди равных. Почти. Тень среди теней женщин и девушек. Такое же горе. Такая же судьба беженки, изгнанницы.

Но все эти годы – рядом никого, и ночью в особенности. Только тьма, гулкая и пустая. Только страх и тоска. Катерина ночует одна, потому что других женщин здесь нет, но даже если бы здесь и был кто-то из них, все едино, потому что они такие же точно: шепчут молитвы, напряженно вслушиваются в темноту. Плачут. Все они со своими мертвыми, думает Катерина, укладываясь, но...

Но разве их мертвые не отвечают так же? Или, может быть, как раз отвечают?

Сегодня все как обычно – молитва на ночь, но вдруг Катерина понимает, что легла не навзничь, как обычно, а свернулась под одеялом как ребенок. Что она не ждет со страхом каждой минуты наедине с собой. И что вообще ощущение такое, будто она спиной, затылком, пятками прижимается к чему-то неразличимому, но мягкому и упругому. Будто там резиновая мембрана, что-то... Что защищает ее от ночи.

И она теплая.

Теплая.

«Вот и ты, сестрица, – снова этот голос. – Как дела?»

– Не знаю. Но мне тепло. Давно уже... Очень давно не было такого. Почему так?

«Это, наверное, из-за адского пламени».

– Не шути так, Келли. Не надо.

«Прости. Нет тут на самом деле никакого огня».

– Меня правда это тревожит. Это для меня очень серьезно.

«Что? Есть ли в аду огонь и сковородки?»

– Есть ли ад... вообще. И откуда ты. И почему ты слышишь меня, а я тебя. Ты ведь...

«Ну, говори, говори, что я?»

– Если ты и вправду мертв, то тогда... Тогда это называется «инкуб», и я не должна...

Она слышит его смех. Резкий хриловатый смех, обжигающий.

«То есть у тебя сомнения есть – злой дух ли я или просто так, бред какой-нибудь?»

– Это не смешно, Келли. Мне почему-то с тобой... хорошо. Но ты пойми, я...

«Мо чага, я и сам не знаю, кто я и что я такое сейчас. Что-то со мной случилось. Больно было, очень больно, потом я вроде как бы увидел себя... снаружи, что ли. А потом все потеряло смысл. Я как будто забыл, что такое смысл вообще. Все стало какое-то... никакое. Что ты говоришь, хорошая моя?»

Она ничего не говорит. Пересохшим от внезапного страха горлом она шепчет: «И со мной... И со мной тоже... А если... Если это я умерла?»

«О, нет! Нет! Как ты можешь быть мертвая? У тебя же там целый мир есть, я даже чувствовал то-то. Что это было там? Одеяло? Стена кирпичная? А у меня тут нет ничего, совсем ничего нет, и это очень страшно. И холодно, так холодно, я даже не могу объяснить, до чего...»

Я знаю, шепчет она, почти теряя сознание. Холодно. Страшно холодно и темно. В горах. В горах ночью.

«И тут я вроде как бы опомнился. Тепло. И это тепло, этот огонь – это ты. Единственный огонь, который тут есть, и весь свет... Я как будто снова стал... понимать себя, что ли. Слышишь?»

Она не слышит. Она оцепенела и уплывает по ледяной реке, повторяя про себя то, что твердила чуть не каждую ночь эти пятнадцать лет: «Я мертвая... Я мертвая...»

«Нет же, ты живая! Живая! Ох, сестра, не надо так! Что ты делаешь, сестра!!!»

Ее будто подбрасывает на постели. Она вдруг ощущает сильный жар в руках, в ногах, в пальцах – такой похожий на боль, которая грызла ее изувеченное холодом тело там, в той аргентинской миссии. А душу грызет до сих пор.

Это призрак зовет ее, кричит отчаянно и громко: «Сестра! Сестра! Не уходи! Не гасни! Я тут, с тобой, не бросай меня!»

Это не тот голос, который она хотела бы услышать. Но этот голос – он там, где долгие годы не было ничего вообще. Она вздрагивает, и слезы текут, не останавливаясь, словно внутри у нее – бесконечное море, и вдруг сквозь собственные всхлипы и рыдания она слышит что-то непонятное. Это слова, незнакомые, но они наполняют слух знакомым ритмом: *«Аур нахэр... Ата арньэв... Го нафер дайним... Го тага до рехт...»*

И можно легко продолжить: «Как и мы отпускаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».

Келли?

Что это?

Ты... молишься?

Он отвечает не сразу, тишина длится почти столько же, сколько нужно, чтобы начав, снова прийти от «Отче наш» до «Аминь»:

«Молюсь. Это все, что я помню. Что же мне еще было делать?».

Обычно Катерина исповедуется в конце недели, но ждать еще три дня никак невозможно, и эта утренняя исповедь мучительна. Доверие, надежда, страх, стыд – все перемешалось, все перепуталось. Катерину ожидают ее мастерицы, скоро будут ждать дети в школе, но все пошло не так из-за этих ночных молитв с призраком. После исповеди Катерина должна бы успокоиться и окрепнуть, но нет – душа все равно будто переходит пропасть по стеклянному мосту. Катерина чувствует себя больной – словно у нее припадки, когда все время ожидаешь, что вот-вот опять...

Она сидит в своей комнатке и ждет. Нельзя с таким сердцем, с такими мыслями идти сейчас к детям. Она достает из ящика стола толстую тетрадь. Это дневник. Катерина пишет на том языке, который для всех других тут мертвый. Не существующий.

Она пишет по-чешски.

«Отец Луис говорит, что Господь не всегда посылает ангелов, и что в его власти открыть даже ворота ада, чтобы грешная душа вышла оттуда и напомнила о себе. Чтобы я могла молиться за него.

Может, в этом и есть смысл. Но он все равно предостерегает от разговоров.

Искушение.

А еще отец Луис сказал, что ад – это отсутствие надежды. Тогда я, наверное, в аду. Хотя там же не может быть ни священников, ни Церкви, что я как дуручка, в самом деле... Но если считать наверняка доказанным, что я жива и не умерла (потому что в аду не бывает Церкви?) – то все равно, ад, наверное, не должен слишком уж отличаться от обычной жизни. Вот Мария Игнасия (муж пропал, брат сгинул, отец умер, детей трое) – разве не адская мука ее жизнь? Или у старой Кармен – тоже одна-одинешенька, болеет. У Пако нет ни отца, ни матери, тетке он не больно нужен... Их разве не грызет боль – душевная и телесная? Вся их надежда – это я и еще несколько братьев, а мы же далеко не ангелы...

А я сама, что ли, не мучаюсь в аду каждый день, каждую ночь... Говорят, каких-то грешниц в аду заставляли наполнять водой дырявую бочку. Дурацкий бесконечный труд, тщета усилий, непонимание – тоже ад. Но я-то тружусь не напрасно?

Просто моя работа безнадежна. Я никому не могу вернуть счастья. И мое не вернется никогда.

И бочка моего долга не наполнится.

Боже, послал бы ты мне надежду.  
Но надежды нет.  
Разве что... нет. Нет».

...Когда бывает, что сон снится всему телу сразу. Не только мозгу, или легким, или ногам... Катерина спит и не понимает, что это за сон, но проснувшись, даже еще только просыпаясь, она знает, что произошло.

Неважно. Что это было. Красные цветы. Рыбозмеи. Золотой огонь. Море.  
Сон, несомненный, как вкус кофе на губах.  
Как удар током.

И, как от удара током, ноют мышцы.

Она старается думать медицински. Потому что латынь. Ей нужна латынь. Прямо сейчас. Но мысли тоже будто перетряхнуты сразившей ее судорогой, и она не может вспомнить ничего, кроме – *inferno. In Fer No.*

Ад.

Ад.

Меня ожидает ад.

Она лежит спиной на очень узкой полоске реальности. Кроме этого есть еще только точка в ней, черная волна, красная волна – страх. Стыд. Ад. За этот огонь – гореть мне в аду, думает Катерина в отчаянии, половина ее мозга вспоминает нужные слова, но они белые и холодные, как жемчужины, и они падают с языка, как жемчужины с порванной нитки... и сгорают... и сгорают... а посланцу ада все равно, он и так уже здесь.

«Катерина, *mo chara*, да что с тобой?»

Все это уже было однажды.

Задыхаясь от гнева, Катерина сползает с постели, сбрасывает ночную рубашку...  
Голая – а то он не видел ее голой, а то он не...

Она снова пытается собрать жемчужное ожерелье молитвы, она становится в умывальной комнате на ледяные плитки, она включает воду – ледяную воду в душе. Вода, злость, страх, слезы, ее колотит, зуб на зуб не попадает, слова снова укатились во тьму, но ей все мало, и она успевает несколько раз ударить себя по лицу, прежде чем выходец из ада непонятно как перехватывает ее руку.

«Опомнись ты, женщина, – он сердится, он тоже испуган, но по-другому. – Да что ж ты делаешь-то, в самом деле».

Изыди, почти хрипит Катерина, я же с ума сойду, уйди, уйди, ради Бога, ради дьявола, ради кого угодно!

«Ох ты ж хрень господня. Женщина, если ты каждый раз так будешь швыряться под холодный душ... мы с тобой долго не протянем».

Мы с тобой? Да ты...

«Ведьма, чисто ведьма, – бормочет ночной дух, отступая в неведомые глубины, и все же не уходит далеко. – Чего ты так взбеленилась, ну подумай, сон приснился сладкий, с кем не бывает, тут радоваться надо, а она чуть в окно не сигает...»

Сон? Приснился?

Да разве это не твоя работа?

«Моя? Я даже обнять тебя не могу!!!»

Катерина плачет.

Она плачет в душевой, плачет, пока бредет вслепую в спальню, плачет, сидя без сил на кровати, завернувшись в пахнущее овцой одеяло. В общежитии холодно, ее бьет резкая дрожь.

«Я ничего не могу, – говорит пленный дух внутри ее памяти. – Не могу завернуть тебя в еще одно одеяло. Не могу вытереть тебе волосы. Не могу принести чаю. Растереть тебе руки и ноги. Не могу лечь рядом с тобой и просто тебя обнимать, не говоря уже о чем

другом. Видит тот, кто видит, Катерина, я все бы это сделал для тебя, потому что сейчас ты все, что у меня есть – и ты плачешь, и тебе плохо и страшно, и я бы, конечно, с удовольствием занялся бы с тобой любовью, чтобы ты успокоилась и уснула... если бы мог. Но нет же. Я только... Может, вспоминаю тебя, что ли...»

– Уж прости, но как именно ты меня там вспоминаешь?

«С любовью. Как бы еще? С любовью и еще...»

– Что?

«Я бы хотел... Я... Прости меня, Сиды. Мне бы еще тогда у тебя прощения попросить, ну... Потому что я тебя обидел, очень обидел ведь. Тогда. Мне бы просто любить тебя. Нельзя было так, как я... Назло, нарочно... Особенно в те дни. Прости меня, прошу. Если можешь».

Она молчит. Чувство тепла словно отдалилось, но нет и того, к чему привыкла – ледяного ветра из ниоткуда. Ночь – просто ночь, и может быть, еще немного... немного того, что может вмещать память. Ночь пахнет лимоном и табаком, душистым перцем, женщиной и мужчиной, обидой и одержимостью, и вдруг...

Вдруг все это уходит и оставляет ее опять в темном холодном ночном одиночестве.

– Я не держу на тебя зла, Келли О’Шонесси. Было и прошло. Я давно тебя простила.

Вот. Вот и все. Теперь он уйдет. Видишь, все не так страшно. Теперь он уйдет, и все будет как обычно – по крайней мере, бестревожно. Потому что терпеть это все... Колебаться все время, как на лезвии, отчитываться перед отцом Луисом каждую неделю, а то и чаще... Сознаться ему в том, что она...

Что она помнит. Что разговаривает с ним. Что даже сейчас вспоминает те их несколько безумных часов вместе, когда каждый в мыслях был с другим, и оба – с одним и тем же, и вот это и был настоящий, самый серьезный и неисповедимый грех, но...

«Но это все прошло, моя Сиды. Спи. Спи, ничего не бойся».

Катерину словно подбрасывает, она испуганно всматривается в темноту, словно ожидает увидеть там адское зарево и страшный призрак.

– Ты... Ты тут еще? Ты не ушел?

«А я должен был? Да и куда мне уходить, милая моя, я же и так нигде? Ложись, ложись. Спи. Я тут тихо побуду с тобой... где-нибудь. Не буду смотреть. Трогать не буду. Но останусь тут, рядом. Спи, Катерина, спи, сестра моя. Сказать тебе еще раз “Отче наш”»?

Ее вдруг разбирает нервный смех.

– Нет, нет, Келли, спасибо, но... Не надо. Я тебе верю. Я...

«Да не говори уже ничего. Спи, сестра-огонек. Я, может, согреюсь немного. Спокойной тебе ночи».

И вот, не веря самой себе, она снова укладывается на бок, как маленькая, бормочет: «Спокойной ночи» призраку своего бывшего случайного любовника и засыпает.

Спит спокойно.

«Он называет меня Сидой. Что это значит? Почему?»

Что означают эти его молитвы, если он не верит в Бога и не стремится к тому, чтобы я за него молилась? Я думала, что прощу его, как он просит, и он успокоится и уйдет, но нет. Что-то, видно, его еще терзает. Я хочу (зачеркнуто).

Я не знаю, чего я хочу. Как сестра Кармела я хочу, чтобы он утешился и замолчал. Чтобы он увидел свет. Не мой, настоящий. Горный. Тот, которого я сама еще не видела. И, как сестра, я для этого готова делать все что угодно, даже говорить с ним... Нет. Как сестра, я должна только молиться за него. Как женщина, я хочу только разговаривать с ним.

Потому что тогда я чувствую, что я в ночи не одна.

Потому что я слаба».

– Келли.

«Что, милая?»

– Келли, а что такое «Сида»?

«Девушка из холма... Ну, такой дух».

– Я не дух.

«Нет, конечно. Просто после того, как я... Как мы с тобой поругались тогда... Я ее видел несколько раз. А она рыжая, в синем платье. Точно как ты. Напророчила мне, что я умру ужасной смертью. Сказала: убегай, но счастья не будет... Так и вышло. И убежал, и счастья не было, да и смерть, кажется, была дурная».

– Тогда почему ты меня так называешь?

«Потому что я думал, что это ты».

– Нет. Это не я. У меня нет привычки являться людям. К тому же это Симон.

«То есть?»

– Это же Симон тебе сказал, что нужно уехать? Он всем это говорил.

«Нет. До меня он не успел дойти. Я раньше слинял. Из-за Сиды. Но вообще на Симона это похоже. Он всегда обо всех заботился».

– Ты... Очень его любил?

«Очень, да. Я до него влюблялся часто, но это же как пришло, так и ушло. А он мне будто в сердце воткнулся, как нож я его поймал. Но я был ему не нужен. Как и ты, милая, как и ты».

– Что ты несешь, Келли! Он был мой друг. Лучший друг.

«Мой тоже. Но и мне, и тебе – нам ведь обоим этого мало было, я прав?»

Она молчит. Потому что сказать: «Да», – это уже как-то... жутко. Вместо этого она говорит:

– У тебя хоть немного было...

«Ох, да сколько там было той любви-то! Я хотел его всего, и себя всего отдал бы, но... Но только он почти ничего от меня и не взял – несколько ночей да вот имя, которое я ему дал. И сам мне из того, то у него внутри было, ничего не отдал. Ничего из того, что у него было для других. Для тех, кто ему на самом деле был важен. Вот как тот *чинито*».

– *Чинито*? Хайме?

«Вот видишь, ты даже имя его знаешь».

Катерина ощущает волнение.

– Келли, да ты... Ох, Боже мой, да ты что, думал, они любовники?

«А разве нет?»

– Нет.

«А почему же он тогда...»

– Что?

«Ну... Бросил меня – ради него ведь».

Катерину бросает в жар. И Келли тут ни при чем. Сами по себе щеки пылают, и тысячи острых иголок втыкаются в подушечки пальцев, в запястья...

Все было не так. И так. Воспоминания наплывают одно за другим – рада бы остановить, но не может. Как нелюдимый угрюмый подросток какое-то время ошивается в редакции и оттаивает только при виде Симона... Потом сам Симон, озабоченный и сердитый. «Ты понимаешь, что он тебя провоцирует?» Черная тонкая Симонова сигарета, горький дым: «Я обещал присмотреть за парнем... Хорошенький присмотр получается. Я ему даже объяснить не могу, что к чему, еще не хватало, чтобы это все так выглядело, будто я его... совратил! Невозможно же, абсолютно невозможно и... Вот черт, ну и положение!» Две тени за матовым стеклом двери – надо уйти, нельзя подслушивать, но... «И как я вернусь? Как я тебе могу доверять, когда ты... С этими... С этим! Тьфу, гадость!» И твердый тихий голос Симона: «С кем я сплю – это тебя не касается. Но есть еще другие

дела, который касаются нас обоих. И они... важнее всего остального. Возвращайся в город. Учись, работай. Ты знаешь, что на мое слово можно положиться».

AAAAAAAAAA!

Катерина вздрагивает, воспоминания рассыпаются и исчезают.

«Ох же, адовы сковородки! Вот оно что! Целомудренный, сука... Я ему, значит, просто мешал...»

– Келли, ты что?

Он не слышит. Он давится какими-то хриплыми словами – ничего не разобрать, наверное, какие-то ругательства, а потом снова кричит. Просто кричит.

Катерине очень страшно, еще и потому, что она вдруг словно видит его похожим на тех... правда, все измученные люди похожи... И сестра Кармела становится главной.

– Келли, – говорит она тихо и твердо. – Келли. За руку меня возьми. Дыши.

«...не только потому, что кричал. Я быстро опомнилась. Понимала, что кроме меня никто его не слышит. Понимала, что он не может дышать там, где он сейчас, и что еще раз он не задохнется. Но дышать – это все, что может человек, когда ему очень больно. Он не мог, и мне пришлось положить руку себе на грудь и сказать – повторяй за мной. Он все-таки успокоился.

Это было так странно, как будто я и в самом деле обнимала его.

Как будто он... Вошел в меня. Ко мне. Не в том смысле, в котором раз за разом тогда входил... Но все-таки, видимо, немного и в том. Никаких огненных струй или райских цветов, я даже не чувствовала ничего из того, что знаю о своем теле. Но что-то между нами произошло.

Как я буду в этом исповедоваться – ума не приложу.

Не знаю таких слов».

«Теперь я чувствую его и днем. Пришел со мной в мастерскую Марианы, дочери доньи Хосефы. Думаю, что выглядела я немного странно – потому что это он трогал лоскуты, вырезанные из старых пододеяльников, детских кофточек и мужских рубашек, внимательно рассматривал коврики и, кажется, пытался вместе со мной пить крепкий кофе, которым угощали работницы. Мариана потом сказала мне: «Если бы не знала вас столько лет, решила бы, что вы влюбились, сестрица... Улыбаетесь вы будто сами себе, и взгляд у вас такой стал... помягче. Надеюсь, это вам Господь утешение послал за все, что вы для нас делаете». А я ответила, что Господь послал мне испытание. «Святая вы женщина, сестрица, – отвечала Марианна, – раз вы Божьи испытания с такой радостью принимаете».

Знала бы она...»

«Спросил: “А твоя арпильера где?”

Моя?

“Ну да, твоя. Ты же тоже, как они... Почему бы тебе не сделать – на память... О нем?”

И вот я теперь шью».

«Я тебя в прошлый раз напугал...»

– Вчера.

«А! У тебя там есть “вчера”. “Завтра”. У меня нет. Все как-то сразу и близко, и далеко. Я, наверное, поэтому так орал. Потому что вот же где-то тут эти проклятые “Мальвы”, вот я в глаза его синие смотрю, – “Подсолнух мой...”, а вот, видишь, измерен, взвешен и признан негодным... Не стоящим каких-то его дел, которых и вообразить-то не хочу...».

– Это, наверное, очень горько.

«А то. Я вот даже тебе завидую».

– Почему?

«Ты для него что-то значила. Ну вот, как ты рассказываешь, что он тебя спас».

– Ох, Келли. Ну, спас. А теперь я перед ним в долгу, и как выплатить – не знаю. А я тебе завидую.

«Из-за того, что я...»

– Ну да...

«Ох, Катерина... Ну вот ты представь, вдруг что-то такое случилось, не знаю даже, что – чтобы он себе изменил... Ну, дал бы он тебе то, чего ты хотела... И что? Кричала бы тоже вот, да плакала, когда бы стало ясно, что есть что-то другое, что-то важнее тебя? Он ведь прежде всего себя соблюдал. Свое дело. Поэтому и меня бросил. И, знаешь, как вот с девушками расстаются: “останемся друзьями”... И остался. Друг, которому от меня ничего не надо. А мне-то он был нужен. Его солнце. Его свет. Его душа. Но что бы я ему взамен дал? Тело свое умелое, и все?»

– А любовь? Этого мало разве?

«Да черт же его знает... Что ему была та моя любовь. Что я вообще был – кожа, пальцы, губы, все такое прочее... Как будто души-то во мне и не было. Невыносимо это, сестра. Я на себя его глазами посмотрел – и все, уже не мог жить как раньше. Словно сам себе изменил. Все делал так, будто он стоял у меня за спиной и следил».

– Ну даже если и так. А вдруг он смотрел на тебя с любовью?

«Вряд ли. Но это все ерунда, кто знает, что живой бы вообще сказал... И почему это было так важно для меня? Разве есть такое правило – чтобы это было важным? Я сам выбрал мерить свою жизнь по нему – что ж тут удивительного, что оно стало никчемным? Ты вот выбрала сама быть в неоплатном долгу – что ж тут удивляться, что ты заживо умерла?

– Ох, Келли, ты страшные слова говоришь. Разве жить для других – это умереть?

«Да я вон и умер, только попробовал... А ты – ты вспомни, что сама о себе говорила: “мертвая, мертвая”... Нет, милая, видишь, в чем разница между нами и им? Он себя строго сохранял, никому не позволял ослепить себя. А мы ему позволили. Потому мы сами виноваты. Что уж об этом говорить. Таким, как он, судьба, видно, – светить, оберегать. Заботиться – но не любить. Я только любил тебя несколько часов – а спас-то тебя он».

Несколько часов. Несколько часов, когда кто-то – нет, не кто-то, а именно он, Келли, – был с ней. Смотрел на нее. Касался ее – не только тела, но еще и души, измученной и замерзшей. Несколько часов тепла, после которых уже – только лед и мертвый камень. Ее последний мужчина. Ее...

– Ох, прекрати. Келли, прекрати! Замолчи!

Она не может говорить, она всхлипывает. Ей больно, но это не та боль, привычная, притупленная годами и безнадежностью. Эта – новая, острая, внезапная. И она не может сопротивляться, потому что это знание. Много знания – много боли.

«Хорошая моя? Я обидел тебя? Тем, что ругал его тут?»

– Нет, – наконец отвечает она. – Нет. Я плачу, Келли, потому что Господь так решил, наверное... Чтобы я... Чтобы мне любить только мертвых.

«Снова ты из-за него плачешь. Бедная моя. А я даже слез твоих вытереть не могу! Что за судьба!»

– Не только, – шепчет она, не может молчать. Не может. – Не только. Что за судьба!

Келли с минуту молчит. Потом голосом, осипшим от напряжения – как это может быть? – но сейчас она уже ничему не удивляется. – спрашивает:

«Это что же... И из-за меня тоже?»

Катерина молча кивает. Страшно говорить такое, но она кивает. Она не знает, видит ли это Келли или чувствует еще как-нибудь. Но он отзывается – и в этот раз голос у

него почти удивленный. И почти гневный.

«Но я же... Я уже не мертвый! – и, словно воздух глотнув, снова: – Мы оба больше не мертвые...»

– Нет, – очень тихо, почти неслышно отвечает Катерина.

Потому что я должна жить своей жизнью.

И наступает тишина – совершенно отчаянная.

«Он спросил – почему роза? Что это означает?»

Удивительно, но он, кажется, в каком-то смысле слепой. Я знаю, что он может смотреть моими глазами – тогда все становится каким-то немного другим... Но в этот раз он еще и потрогать захотел. Я разрешила.

Подсолнух вышел такой, каким мы его оба помнили. Высокий, стройный, лицом кверху, к солнцу. Но вся арпильера была желтая, черная, зеленая и коричневая. А мне почему-то ужасно не доставало там красного. Может, просто увидела у кого-то из мастериц алые лоскуты. Уж не знаю, из чего они их нарезали – цвет был такой густой, не вылинявший. Я попросила несколько штук... И сложила из них розу. Прямо поперек стебля подсолнуха. Она там светилась, словно кровавая звезда в венке из зеленых листьев и шипов. Большие шипы получились, торчали, как единорожьих рога.

Он потрогал ткань.

“Подсолнух. Так. Так. А это...” – и что-то сказал на своем языке, что-то вроде: «Гьялем, агэс рос...» и тут же пояснил: “И роза. Роза. Почему она здесь?”

“Потому что это ты”.

“Я? Матушку мою звали Роза, Роуз, но я-то почему?!”

Ох, любимый, что тебе сказать... Может быть, потому, что роза всегда напоминает про свою дикуую суть – как бы пышно ни цвела, а все старается выпустить веточку шиповника. А еще она нетерпеливо ждет тепла, жадно впитывает воду, свет, воздух – и вырастает пышным высоким кустом, иной раз почти даже деревом. Роза гордая, стойкая, цветет до самых морозов, да и потом еще нераспустившиеся бутоны остаются на стеблях... Скорбная она и радостная, щедрая и тайная. Неуловимая.

Иногда он словно слышит мои мысли. А может быть, просто совпало.

“А еще у нее шипы вон какие, – говорит он. – Я тоже... С шипами”.

О, я знаю, любимый, я знаю».

И правда, Келли похож на розу – растрепанную, огненную. Он очень окреп за то недолгое время, что они разговаривают по ночам и общаются днем тем странным способом, когда он будто вмешивается в зрение или другие чувства Катерины. Когда она чувствует себя странно. Очень странно.

«Родная моя. Моя любовь... Ведь ты теперь единственная моя любовь, а я весь твой, сколько осталось... Как было бы хорошо знать, что ты мое пристанище. Что я могу быть жив – хоть бы и через тебя, через твои глаза и душу...»

О нет, думает она, чувствуя, как искушение ядовитым медом течет из-под той невидимой преграды, что их разделяет – течет и облепляет, склеивает волю... О нет. Только не душу. Нет.

– Ты... Пытаешься войти слишком глубоко. Келли, есть места, куда тебе нельзя. Нельзя тебе быть мной.

«Но я и не хочу быть тобой. Я только хочу жить через тебя, насколько можно. Разве же нельзя, любимая? Это как секс, такое же слияние, но не навсегда. Чего ты боишься?»

– Гм... Э-э-э... В сексе я впускаю... Впускала тебя только в тело.

«И в сердце тоже».

– Келли, это другое. Ничего не говори про мою душу. Даже не думай об этом. Я даю тебе смотреть своими глазами, чувствовать мир своей кожей, ты иногда можешь даже

ощущать вкус того, что я ем или пью. Но моя душа – это только мое. Нет. Нет. Не заговаривай со мной о моей душе, не делай этого со мной.

Он тяжело вздыхает и замолкает. Молчит, как могила. Как целое кладбище.

«Вдруг спросил – каким я его помню?

Сильным.

Физически крепким.

Неудержимым.

Нежным.

Желанным.

Молодым.

Отчаянным.

Грубым.

Глупым.

Одиноким.

Я разволновалась, вспоминая, даже дыхание перехватило, а он снова сказал с отчаянием: “Что за судьба! Так мне и надо...”

Ох, горе мне, он же был такой живой – глаза золотые, голос как мед, руки теплые... И душа у него была, была, что бы он там ни думал, что бы не говорил – как огненная птица она у него была, я же видела... Бедный... Последний мой. Последний. Любимый.

Любимый мой, как же мы сами себя разделили тем, что могло бы нас соединить, а теперь...

Теперь между нами что-то неведомое. Что-то такое, чего и не измерить. Чего не заполнить словами.

И нельзя протянуть руку сквозь эту пустоту».

### **Арпильеры и мороженое**

– Сестра Кармела, там к брату Матео пришел человек, он хочет посмотреть наши арпильеры.

– Я сейчас приду.

У брата Матео в конторе сидит молодой мужчина в джинсовых штанах, в синей куртке. Немного полноватый, симпатичный, как плюшевый медвежонок, голубоглазый. Длинные волосы, стянутые в хвостик. Он смотрит на Катерину... потом снова смотрит на нее, и на его милом лице появляется какое-то странное выражение. Будто он озадачен. Или нервничает.

– Это сестра Кармела, она вас проводит. Сестра Кармела, это сеньор Карре, он фотограф.

– Провожу, – отвечает Катерина, – только два слова скажу брату Матео.

Фотограф торопливо кивает и выходит из конторы. Сумка его остается лежать под стулом.

– Так что ему показать?

– Третью кладовую.

В третьей кладовой хранятся такие коврики, что если их увидит посторонний... Даже сейчас. Даже сегодня.

– Брат Матео, мне все равно нужно спросить, вы уверены?

– Да.

– Он нервничает.

– Подумайте сами, сестра Кармела, он ведь к нам не о районной детской кухне договариваться пришел. Но это надежный человек, я его знаю. Я с ним общался раньше по розыску пропавших, он искал... своих.

– Нашел?

– Увы, нет. Что называется, бесследно пропал человек. Вы просто покажите ему все. Он покупать не будет, наверное, но сделает фото для книги.

В этой безоконной кладовке арпильеры сами как в тюрьме, думает Катерина, отворяя тяжелую обитую металлом дверь и зажигая зарешеченную лампочку под потолком. Пахнет джутовым волокном, пряностями (во многих мешках перевозили перец), анилиновыми красками.

Фотограф оглядывает комнатуху – в ней на трех столах стопки арпильер. Он берет несколько штук, раскладывает на свободном пространстве и не то вздыхает, не то хочет что-то сказать, но не решается. Стоит и смотрит, прикусив губу. Катерина знает, на что он смотрит. Все равно, тут на что ни глянь – на эту ли, где женщина стоит у окна, или на эту, где мужчин вытаскивают из дома, а над всем этим огромная полная луна, или на эту, где все лежат лицом вниз...

– Здесь очень темно, – говорит он наконец. – А... нельзя их куда-нибудь вынести, где побольше света?

– Нет, к сожалению. Вы же понимаете. Нельзя, чтобы это увидели... случайные посетители.

Он кивает, потирает лоб в задумчивости. Роемся в сумке, достает экспонометр, замеряет и прикидывает...

– Хорошо, сестра, я попробую, – кротко говорит он наконец. – У меня очень хорошая вспышка, совсем новая, должно получиться. – И снова ныряет в сумку, достает хитроумно изогнутую лампу.

На левой руке у него, там, где обручальное кольцо – два пальца не гнутся, безымянный и мизинец, это видно, когда он собирает фотоаппарат, прилаживает вспышку. Ничего особенного, мало ли у кого может быть сломана рука.

– Катерина.

О нет, только не сейчас. Ты видишь, я занята.

– Катерина. Дай мне... посмотреть. Пожалуйста.

Он очень взволнован.

– Пожалуйста. Я, кажется, его знаю...

Ну хорошо. В конце концов, пусть еще и Келли посмотрит. Хотя все равно, если этот человек из DINA, он уже видел все, что не нужно было видеть. Катерина делает вдох и выдох...

И Келли узнает его.

– Бо! Бо Финне!

Фотограф вздрагивает и роняет арпильеру, которую только что разглядывал.

Оборачивается и видит бледную, страшную, ледяную сестру Кармелу. Или нет.

– Что вы сказали?

Он весь сейчас как воплощение буквы «О»: широко раскрытые глаза, расширенные зрачки, приоткрытый рот. Непонятно, замечает ли он адскую подграничную возню: «Немедленно прекрати! – Дай посмотреть! Дай мне поговорить с ним! – Да ты с ума сошел, О’Шоннеси, сиди тихо!», и чувствует ли он хоть чем-нибудь, как гнется и пружинит невидимая мембрана, в которую колотится всей оставшейся сущностью буйный дух.

Катерина-то чувствует. Это вокруг нее корчится и волнами идет белый свет. Но надо стоять ровно, дышать по возможности тоже ровно.

– Бо Финне, – повторяет он и наклоняется поднять коврик. – Вы сказали «Бо Финне»...

Он сидит на корточках и смотрит на нее снизу вверх, с лицом, залитым лихорадочным румянцем – это видно даже в полумраке кладовки.

– Это было мое прозвище... А я все думал, – он встает и бережно кладет арпильеру

на стол, и левая рука с негнушимися пальцами задерживается, чтобы погладить выпуклое шитье. – Я все думал, откуда я вас знаю... Я вас видел... Однажды... давно. Но у вас такое лицо... незабываемое... Выходит, Келли и вам рассказывал...

Катерина кивает, она не может говорить, потому что Келли все еще здесь, и он в ярости.

– Вы очень бледная, – говорит Бо Финне, фотограф Бенедикт Карре, – тут и правда духотища такая. Простите меня, я еще недолго... просто... Они такие... Я...

Катерина наконец невидимым движением заталкивает разъяренного Келли в глубину: «Сволочь! *Damnu ort, a bhitseach!* Я тебя ненавижу...»

Теперь можно.

– Не беспокойтесь, – говорит она твердым, ровным, спокойным голосом. – Делайте вашу работу. Я в порядке.

Он действительно принимается за работу, выбирает арпильеры, раскладывает их на столе под лампой, примеривается, делает снимок – раз, два, три раза щелкает затвор. И спустя несколько минут все-таки начинает говорить – благо смотреть на Катерину ему не нужно.

– Значит, вы его тоже знали...

– Кого, простите?

– Келли. Ну, Келли О'Шонесси, это же он мне прозвище придумал. Я давно его не видел... Лет семь-восемь... нет, больше, да в семьдесят восьмом он был здесь.

– Да, мы... были знакомы, – отвечает Катерина.

Фотограф делает еще несколько снимков молча. Потом замирает с фотоаппаратом в руках, будто задумавшись.

– Он хороший человек. Станный, но... хороший. Беспокойный. Вечно что-то делал, придумывал, все вокруг него кипело... Эх... давно прошли те времена. Где он сейчас, не знаете?

Это больно. Когда ты – тюрьма из мягкой плоти, из хрупких костей, из несильного духа... Это больно.

– Он... умер.

– Ох. Не может быть. Как же это?

– Несчастный случай.

Бо наконец поднимает на нее взгляд и сам меняется в лице: начинает быстро, не глядя, разбирать фотоаппарат, укладывает его в сумку.

– Пойдемте, сестра. По-моему, вам совсем нехорошо. Мне... очень жаль.

– Это ничего, – отвечает Катерина, но она и сама уже снаружи, и запирает арпильеры на два замка, не забыв погасить свет. – Не беспокойтесь обо мне.

– Как же не беспокоиться, у вас такой вид, как будто вы привидение повстречали там... Конечно, эти... коврики, они... Тяжело это все, я понимаю. Знаете, я ведь помню вас в лицо, но не помню, чтобы мы как-то встречались. А сейчас каждый человек из тех времен... до этого всего... он дорог. И нас все меньше. Вот и Келли, вы говорите... Ох, печаль, простите, если я что не так, я ведь ничего не знаю... Я вот что хотел спросить...

– Так спрашивайте.

Фотограф останавливается. Голубые глаза его смотрят тревожно.

– Все вас называют «сестра»... Но вы... не носите монашескую одежду?

Это верно. На ней черная юбка – но не в пол, и белая блузка. Она похожа на учительницу.

– Вы мирская сестра, верно?

Хоть этому не надо объяснять.

– Я почему спрашиваю... если бы вы были монахиней, я бы не мог даже спросить, но раз вы в миру живете... Скажите, не могли бы мы встретиться?

– Встретиться?

– Да. Понимаете, я... Когда вы сказали... Меня очень давно так никто не называл. С тех пор, как... Если вы не хотите об этом говорить – не надо, но я бы даже и помолчал бы о них с кем-нибудь. С кем-нибудь, кто знал... Вот, простите, сказал все, – и он, как школьник, достает из кармана платок и вытирает лицо.

С кем-нибудь помолчал бы.

– Хорошо, – отвечает Катерина, ощущая внутри сосущий холодок. – Хорошо.

И вдруг, подхваченная потусторонней волной, добавляет резко:

– Только знаете что? Где угодно, кроме «Апельсина».

\*\*\*

У Бо – кофе, у Катерины – кофе и мороженое.

– Ну вот, – говорит фотограф, теребя край скатерти. – Как-то так и получилось. Можно сказать, легко отделался. Я думаю, они просто хотели напугать. Условный рефлекс такой как бы... «нет такого человека и не было даже». Чтобы я не искал.

– И вы...

– Ну, нет, – Бо вздыхает. – Понимаете, ведь тут как вышло... Ведь оно понятно, что и рука срастается, и ребра тоже... и ожоги... ну, заживают, в общем. И спустя какое-то время уже совсем не больно, совсем. А вот что остается навсегда – так это страх такой липкий, склизкий такой, когда носом, извините, в пол лежишь и со всем белым светом и с самим собой прощаешься, – он отхлебывает кофе и его передергивает – вот это вот... Вот чтобы этого не было, я потом снова... потихоньку... Не сразу, конечно, все-таки я не герой, но потихоньку. В викариат даже вот обращался.

– Брат Матео сказал, что ничего не нашли.

– Не нашли. До казарм еще как будто есть какой-то след, намеки... а потом просто ничего. Священника не вызывали, это все, что они знают... А человек просто исчез, и все.

– Могли и не вызывать, – как-то рассеяно отвечает Катерина, – он, мне кажется, не был настолько религиозен.

– Так что не знаем и, наверное, уже никогда не узнаем, – тихо говорит фотограф. Он не смотрит в этот момент на Катерину и не видит, как странно она меняется в лице – рот будто сползает вниз и вбок, расширяются зрачки, словно от внезапной боли. Ложечка звякает, и Бо, вздрогнув, продолжает:

– Удивительно, как вы сказали – только не в «Апельсине»... А обо всем этом в последний раз так вспоминал именно там. Когда Келли приехал...

– Я помню.

Бо Финне наконец-то поднимает глаза, и это все, что он успевает сделать, прежде чем вовсе не Катерина накрывает его руку своей.

– Бога ради, – говорит это существо, – посиди спокойно. Просто посиди и посмотри на меня.

Фотографу очень, очень страшно. Он не может даже кивнуть. Даже моргнуть не может. Конечно, это совсем другой страх, не тот, о котором вспоминал только что, но парализует он точно так же. Вокруг жаркий вечер, людный город, солнце садится в океан, и Бо видит, как острые тени скользят по лицу напротив, будто скальпели: резче стали скулы, глубже ушли, удлинились в разрезе и потемнели глаза, изменилась линия рта.

И голос тоже изменился.

– Она правду сказала, Бо. Я умер. Почти. А потом оказалось, что я могу ее слышать. Говорить с ней могу. Вот я ее и попросил... на время.

У говорящего при этих словах дергается рот. Бо, наконец, переводит дух.

– Ну что ты все тарачишься? В кои-то веки вылезешь черт знает откуда поговорить с человеком, а он только глаза пучит! Сказал бы уж что-нибудь! Ты пойми, я ж не знаю, сколько она выдержит там...

– Где?

– Ну, там... – собеседник пожимает плечами. – О, кофе... это ее? Я допью тогда, – и припадает к почти остывшей непочатой чашке, и счастливая улыбка расцветает на лице.

– Я... просто не знаю, что тебе сказать, – выдыхает Бо наконец. – Ну... не спросишь же: «Как тебе там?».

– Хреново, – отвечает Келли. – Там – хреново, брат мой Бо Финне, и если что – торопиться туда не надо. И мороженое я ее доем, а то вон уже растаяло...

Он придвигает вазочку – совсем не так, как это сделала бы Катерина, – быстро глотает, замирает. У Бо начинается мерзнуть душа, а Келли, кажется, счастлив как ребенок.

– Черт, извини, Бо, я... так давно не пробовал... я почти забыл, как это...

Келли ест и пьет, потом шарит рукой по одежде – похоже, ищет карман и ничего не находит, хмурится, лезет в Катерину сумочку, снова хмурится...

– А, черт, я же бросил курить, а она не курит, ну да ладно. Живой... Хорошо как, Бо, как хорошо... Все-таки у тебя сигаретки не найдется?

Бо отрицательно качает головой, и Келли порывается встать, но его, кажется, не держат ноги. Он наконец поднимается из-за стола, но тут все и заканчивается – глаза стекленеют, закатываются, и Бо едва успевает подхватить обморочное тело Катерины.

## Расставание

Фотограф страшно смущен. «Мне очень жаль, – бормочет он, – надеюсь, мы еще с вами свидимся...» Со мной, думает Катерина, потирая лоб. Со мной. Или нет. Домой бы... то есть в общежитие, туда, где постель... И лечь.

Фотограф ловит такси. Сажает Катерину на заднее сиденье, сам садится впереди, называет адрес и больше не произносит ни слова. Помогая ей выйти у общежития викариата, на мгновение берет за руку. У него теплые ладони. У Катерины – ледяные.

Ледяная и постель. Подушка как камень, одеяло как доска. Катерина ложится поверх, не раздеваясь. Врач хотел... хотел впрыснуть что-то, снотворное, кажется. Катерина отказалась. Налил лекарство в смешной стаканчик с делениями, хотел, чтобы она выпила – густое, бесцветное, горькое даже на вид. Она отказалась снова. У нее ясная, очень ясная голова, и очень ровно бьется сердце. Катерина не спит и знает, что не будет спать, покуда не сделает то, что должна сделать. Время пришло.

Очень тихо, очень темно. Ни молитвы, ни даже мыслей. Просто ожидание. Он придет. Он не может не прийти. И его нужно встретить. А пока – тишина.

«Катерина... Катерина... прости меня».

Катерина мысленно считает: раз, два, три, выдох. Теперь можно.

– Келли. Бывает так, что прощения просить нет смысла.

«Потому что я настолько... мерзавец?»

– Нет. Не в этом дело. Потому что все меняется. После некоторых... вещей.

«Я понимаю, что я тебя напугал... Все-таки прости меня, пожалуйста».

– Келли. Я не буду тебя прощать. Я хочу, чтобы ты понял. Мы не будем с тобой жить так. Ты и я.

Келли не отзывается. Но пространство между ними буквально ходит ходуном. Тонкое пространство. Узкая клетка, в которой она была. Не забыть. Не забыть. Не сбиться. Я сделаю все, что нужно. Все. Чтобы ты больше никогда не мог повторить такое, как сегодня.

«Ты настолько... ты так меня ненавидишь, Катерина?»

– Не ненавижу. Но я теперь не доверяю тебе. Я не смогу жить, ожидая, что ты в любой момент попытаешься взять контроль на себя.

«Я ненадежен».

– Ты ненадежен. Ты... С тобой нельзя договариваться. Понимаешь?

«Катерина, – его голос становится хриплым, как если бы мертвецу и в самом деле

не хватало воздуха. – Катерина, за что... то есть я понимаю за что, но ради Бога, ты же в него веришь, может быть, ты дашь мне еще шанс? Я... не выдержу во тьме, не оставляй меня во тьме, Катерина».

– Ты не выдержишь. Это правда. Я тоже это знаю. И я тоже не выдержу там... в пограничье. Но я живая, Келли, и это моя жизнь. Это мое тело. Мой разум. Я не могу поделиться им – во всяком случае, не с тобой. Ты... ненадежен.

«Боже мой, – шепчет дух, призрак, – один только раз, один раз – и ты уже насовсем проклят... Катерина, я тебя прошу... Пожалуйста...»

– Нет.

«Пожалуйста. Я очень тебя прошу. Я обещаю тебе, я клянусь, Катерина... Ты даже говорить со мной не будешь?»

– Об этом – нет. Я хочу, чтобы ты ясно понял: мы не будем больше с тобой договариваться о том, как ты можешь... жить... об меня.

«И ты... думаешь, я соглашусь? Вот так просто сдамся на твою милость?»

Катерина чувствует, как он пытается повторить то, что было всего несколько часов назад – пытается оттеснить ее, занять все пространство, завладеть ею. Катерина в ответ начинает дышать на счет – так, как ее научили на медицинских курсах, так, как должны дышать женщины в родах. Незнакомая боль сводит мышцы, тело выгибается почти в дугу, но она все равно продолжает дышать и считать. Нельзя сбиться. Иначе боль станет неконтролируемой. Наконец приступ прекращается. Можно перевести дух.

«Хорошо. Сопровивляешься. Но это пока ты не спишь. Когда ты уснешь...»

– Когда я усну, да. Ну, у тебя будет спящее тело. Или сноходящее тело. Или тело без управления – ты видел сам. Но потом я все-таки проснусь и буду бороться за себя. Я перестану спать. Перестану есть. Я буду больна. Я буду вести себя странно, буду падать в обмороки, как в кафе. У меня будут припадки, вот как этот. Как ты думаешь, чем все это закончится?

«Чем?»

– Больницей. Сумасшедшим домом, если угодно. Ты сможешь забрать то, что останется, если я не выдержу. Но все, что у тебя будет – это тело больной женщины, полумертвое от лекарств. Никакого мороженого, только галоперидол. Может быть, еще электрошок в придачу. А это ведь не та жизнь, какую бы ты хотел получить.

«Нет».

– Ну вот, видишь. Келли, я не могу делиться. Не с тобой. Не тем, чего ты хочешь. Мы прекрасно с тобой вспоминали и... плакали, но от тебя осталась та часть, для которой жить – это дышать, пить, есть, заниматься любовью. Этого в тебе было много... и это то, что сохранилось лучше всего. И это не то, с чем... с кем можно делиться. Ты обязательно захочешь всего.

«Откуда ты знаешь?»

– Ты тоже это знаешь. Ты даже сейчас пробовал.

«Потому что мне... у меня нет другого выхода. Я... хочу жить, хотя бы через тебя. Катерина, любовь моя, давай договоримся...»

– О любви только не говори, Келли. Я не могу так.

«Почему?»

Она отвечает не сразу.

– Потому что я... тоже хочу жить, Келли.

«Ну так живи! Разве я... если я буду сидеть тихо, разве я помешаю тебе?»

– Это ты-то – тихо? Ты уже не сидишь. А мне надо будет держать тебя там... где я и сама не смогла быть. Держать тебя на цепи, понимаешь? Долго ли мы продержимся так в мире и согласии?

«Что же мне делать? Это что же, выходит, или... мне, считай, убить тебя, или... Ты понимаешь? Или тебе...»

Тишина весит тонну. Или две. С усилием, чуть сильнее, чем нужно, разделяя слова,

Катерина наконец отвечает:

– Или мне помочь тебе умереть.

У Келли вырывается крик – такой, что Катерину снова подбрасывает и выгибает дугой.

«Ты не можешь! Я – живой! Я хочу быть живым!»

– Это ты не можешь, Келли. Не можешь быть живым, как ты говоришь, «через меня». Ты застрял, и доставались тебе крохи какие-то из милости...

«А я думал, из любви...»

– По соглашению. Из сострадания. Из того, что... соблазн, одиночество, Келли, мне очень тяжело говорить это все. Но это была нечестная сделка. Неправильная.

«Потому что я для тебя злой дух? Суккуб»

– Инкуб. Нет. Не знаю. Просто я очень... я ощущаю очень сильное сопротивление тебе, Келли. Я не могу пустить тебя в себя. Тут занято, понимаешь?

«Кем? Твоим богом, твоими ангелами? Твоим... Симоном?»

– Нет. Нет. Если бы. Просто мной. И это... понимаешь, это очень важно! Я думала, что я... что меня нет. Что осталась только оболочка, только печаль, даже имени не осталось. Но ты пришел и...

«Назвал тебя по имени, дурак я...»

– Назвал по имени. Говорил со мной. Дал мне плакать не в одиночку, не в подушку, не в тишину, которая не отвечает...

«И ты назвала меня по имени. Говорила со мной. Выпустила меня из темноты, а теперь заталкиваешь обратно?»

– Не обратно, нет. Послушай еще раз, что я тебе скажу: у тебя нет тела больше, но осталась – не знаю как – воля. Келли, если бы у меня было тело без воли, разве я не отдала бы его, просто из милосердия?

«Отдала бы?»

– Если бы у меня не было воли жить.

«А она есть?»

– Да. Она есть – благодаря тебе.

«Я, значит, редкий дурак... сам все испортил. Мог бы тихо зайти, пока ты спала... тогда... в самом начале...»

– Но ты не зашел тихо.

«Нет».

– Потому что ты не мог тихо. Потому что ты не вор. Ты какой угодно – но ты не вор. Может быть, как считает отец Луис, тебя со всей твоей любовью и дружбой и вправду послал ад... но если Бог хочет помочь, то он может приказать и Сатане открыть ворота ада... и прислать тебя...

«Катерина, что ты говоришь... Весь ад – это тишина, и тьма, и холод. Десять сантиметров океанской воды, два метра ирландской земли сверху. Никакого Сатаны и никакого Бога. И ты хочешь, чтобы я вернулся туда, потому что не можешь меня вынести... Ну так прекрати уже говорить. Давай, делай. Что там у тебя для этого? Распятие? Святая вода? Отец Луис?»

– Это если бы триста лет назад... Но я думаю, что ничего такого не нужно. Келли, мы с тобой если и не одной веры, то одного обряда. Когда... когда в нашей вере человек мучительно умирает, когда душа никак не может расстаться с телом... читают специальный чин, отходную молитву. То, что для тебя, наверное, не сделали там... тогда, в общем

«Это просто какое-то безумие, – бормочет Келли, – «чтобы живую душу... заживо... что ж ты за человек-то, Катерина?!»

– Ты сам когда-то говорил, что я твоя сестра. Это так и есть, Келли. Я твоя сестра милосердия.

«Ох, ничего себе, милосердие...»

– Милосердия, да. И я медицинская сестра. Если все, что я могу для тебя сделать – это взять за руку и вывести из этого... из этого каменного мешка, из этой адской щели так, чтобы самой там не застрять... я это сделаю.

Катерине кажется, что она слышит тяжелое бурное дыхание.

«Вывести, – наконец говорит Келли. – Вывести. И куда же ты меня выведешь, милосердная... сестра? На эти ваши... тучные пажити? Что со мной будет, скажи мне, святенница, Сиды проклятая, куда я уйду?»

Катерина отвечает не сразу.

– Я не знаю, Келли, – говорит она, и голос ее дрожит. – Я... не знаю. Но я могу тебе точно сказать, что ты не вернешься туда... в это вот... в страшное это твое место, откуда мертвые говорят с живыми. Где ты ни жив, ни мертв.

«Как ты можешь знать, женщина?»

– Знаю. Те, кто ушли с миром – они молчат. У них если и не свет, то хотя бы покой. Я тебе обещаю, Келли. Если вся моя вера хоть чего-нибудь стоит, если стоит хоть капельку моя, – она осекается, не договорив. – Словом, я знаю, что делаю.

«Я не верю в ад. И не верю в рай. Я не верю тебе, Сиды. Я не хочу умирать. Разве это так трудно понять?»

– Ох, Келли...

Она замолкает. Нет. Ничего из того, что застряло комом в горле, нельзя сказать. Нужно просто стоять на этой черте – и назад ни шагу, и вперед тоже.

«Что за судьба! Того упустил. Теперь тебя лишаюсь навеки, – глухой смешок. – И ничего не успел. Ничего. И ты же права кругом, Сиды. Ты вот тут хотя бы дело делаешь свое, пользу... да все равно, живешь в себе, со смыслом – а как бы я жил, если бы правда было можно... Не давал бы тебе делать твое, и свое не мог бы... Что за судьба! Но как подумаю, что жизнь вот здесь, только... только выдохнуть и вдохнуть... и что ее все равно нет – так изматывает это вот... туда-сюда... Ты сильная, Сиды. Ты такая сильная. А я очень устал. Совсем нет сил. Ты... правда будешь держать меня за руку, пока я не кончусь... совсем?»

– Пока ты не уснешь. Да.

Тишина. Медленные неровные толчки с той стороны границы, словно вправду там – человек, которому не хватает воздуха. Тяжелобольной или раненый. Умиравший. Катерина и сама дышит с трудом, как будто десять сантиметров океанской воды недвижимо стоят вокруг, густея и превращаясь в ледяной песок.

И тут Келли вдруг говорит – негромко, но и не шепотом, очень внятно:

«Хорошо. Давай сделаем это».

Катерина вздрагивает и... нет, она не спит, не спит, но медитативная пелена, в которую она себя погрузила, сворачивается мгновенно и все чувства снова становятся острыми до боли. До боли. А ее будет много.

– Дай руку. И... повторяй за мной.

Она ощущает его хватку в левой руке, откинутой в сторону – жгучую хватку мертвеца, не то огонь, не то лед, и еще она слышит, как он из последних сил бормочет – нет, не слова молитвы: «ну вот... точно про пажити... Я же говорил... и на кой мне это все...»

– Келли, – строго и ласково говорит она, – Келли, дай мне делать свою работу, хорошо? Это старый способ, не хуже других. Тебе ведь там страшно?

«Очень».

– Ну вот. А это как лекарство. Как морфин, ты понял?

Он смеется. Он тихо смеется, а Катерина думает, что если кому и нужен сейчас морфин, так это ей, но ей нельзя. Она в бдении при умирающем, она должна быть в сознании. И она начинает снова, и упрасивает Бога принять эту душу, и упрасивает душу быть стойкой, и снова возвращается туда, к бесстрашному путнику в темной долине, и старается наполнить всю себя теплом, и верой, какая есть, и видением лугов, по которым

им не гулять, и пажитей, да, пажитей непаханных, и ручьев, и покоем мирного сна, наконец, – пока десять сантиметров прилива поднимаются и навсегда, до последней Трубы отделяют ее от Келли О’Шонесси, и морская вода превращается в слезы. Просто в слезы.

## Концерт

Это был билет на концерт. Кусочек бумаги с датой – 13 октября, год, имя выступающего.

Катерина медленно положила его на стол. В конверте была еще записка: «Уважаемая сестра, приходите, потому что ему теперь разрешили. Буду ждать. Искренне ваш, Бенедикт Карре».

Вздыхнула. Четыре года, – да, четыре года прошло с последней встречи. Фотограф напоминал о себе разве только открыткой на Рождество, и вот теперь это...

Катерина знала эту историю – как английский певец написал песню о тех, кто танцует сам с собой: «Танцуют с теми, кто умер, с теми, кто без вести пропал, танцуют с братьями, мужьями и сыновьями... Танцуют одни. Одни». Генерал тогда был уже не ястреб, а старая унылая сова, но выступать в стране певцу запретили. И песню запретили. А теперь он приехал. Катерина вспомнила тех женщин, которые действительно выходили на улицу с самодельным плакатом: фото, имя, строчка других сведений – где исчез, когда. «ВЕРНИСЬ». «ПОМОГИТЕ НАЙТИ». «ВЕРНИТЕ ЕГО».

У Катерины такого плаката не было никогда. Она медленно прошла вглубь комнаты, открыла шкаф с бельем. Снова вздохнула. В ящике, запертом на ключ, под стопкой полотенец нащупала арпильеру. Ту самую. С минуту стояла так, водя пальцем по грубой мешковине, по бывшим рубашкам, платьям, платочкам... Ни с кем она уже не делила это прикосновение. Не с кем было. Но она помнила.

Все знали, что в программе будет та самая песня. Поэтому по пути Катерина видела немало людей с памятными плакатами – большими и маленькими, у некоторых просто на одежде было пришпилено фото. У Бо не было и этого. Только полоска бумаги с именем и фамилией Симона – над карманом куртки.

– У меня фото не осталось, – сказал он, словно извиняясь. – Все уничтожил...

– Ничего. Вот, возьмите. Я... Давно хотела вам подарить.

Она вытащила из сумочки туго свернутую арпильеру.

– Что это?

– На память. Держите.

Бо развернул пакет.

– Ох. Вы это сделали? Это... о нем?

Катерина кивнула.

– А роза? Это вы?

– Нет.

Фотограф всмотрелся в шитье.

– Я, кажется, понимаю, – сказал он тихо. – Извините, что спрашиваю, но... он тоже пришел?

– Он умер, – сказала Катерина, удивляясь тому, что голос звучит так твердо. – Он умер, Бо. Все умерли.

«И я хочу с ними проститься», – но вслух этого не сказала.

На стадионе они прошли в загородку, выстроенную прямо на поле. Люди прибывали, долго играла музыка – прекрасные мелодии, хорошо известные. Потом вышел певец. Стадион загудел, замелькали фотовспышки, на большом экране появилось лицо – крупно, хорошо было видно. Певец поздоровался, сказал, что рад приезду, рад

возможности петь свободно, что...

– Бог ты мой, – сказал Бо. – Мне вдруг показалось... Но нет же?

Нет. Этот человек не был похож на Симона. Но ему – намного более молодому, конечно, – сейчас было примерно столько же, сколько Симону в тот страшный год, и он был такой же светловолосый, загорелый и голубоглазый. И двигался так же свободно, и словно тянулся кверху. И улыбался похоже – сурово и нежно одновременно.

Песня была медленная, задумчивая, и с самого начала из толпы стали выходить и подниматься на сцену женщины с плакатами. А те, кто оставался на поле, стали разбиваться на пары. Резкий голос англичанина, его чуть ломаный испанский – с акцентом, – все это отступило от Катерины. Остался только Бо и его руки.

– Сестра, – сказал он шепотом. – Не откажите ради них.

Она не отказала.

Они танцевали вдвоем, прижавшись друг к другу, закрыв глаза, а мертвые, погибшие, замученные, забытые – танцевали вокруг, кто сам по себе, а кто и парами, и постепенно их присутствие становилось все менее и менее ощутимо, как будто они таяли в остром саксофонном соло. С последней трепетной нотой Катерина снова почувствовала под собой твердую землю и поняла, что Бо осторожно прижимает ее к себе, а под курткой у него чувствовалась ее арпильера.

Стадион несколько мгновений молчал. Женщины с портретами стали уходить со сцены, им помогали спуститься. И в тот самый миг, когда еще не было музыки, но бешеные аплодисменты еще не разразились, Бо посмотрел в залитые слезами глаза Катерины и тихо сказал:

– Но мы, сестра, дожили с вами до этого дня. Мы – живы.

## Эпилог

Воздух был резкий, холодный. Другая вода, другая земля, думала Катерина, осторожно шагая по сырому камню и по траве, легендарно зеленой. Снова октябрь. Тут осень, а там... дома – весна! Но ничего, скоро вернусь, – если будет на то Божья воля, добавила привычно и перекрестилась.

Она немного устала, потому что конгресс был в Дублине, а доехать до Слайго – для Ирландии это было уже целое путешествие. Вокруг нее менялись акценты, речь становилась то мелодичнее, то жестче, вот и по-гэльски заговорили (по большей части это были сварливые немолодые пары – высохшие женщины и старики с выдубленной ветром кожей). Язык показался ей неожиданно похожим на немецкий – некоторые звуки были такие же резкие, гортанные, но ни слова она, конечно, не понимала.

Надо думать, ее английский тоже звучал странно для местных жителей. Кладбищенский сторож ворчал и огрызался в ответ на ее вопрос, но потом все-таки развернул какую-то схему и ткнул костлявым пальцем куда-то в дальний угол. «Здесь».

И вот она идет – медленно, стараясь не поскользнуться. Голландская роза – не та, золотисто-алая, которые он любил, а обычная, наполовину искусственная, даже без запаха, – немного мешала. Катерина проходила могилу за могилой, не всматриваясь в них, потому что старик сказал что-то вроде: «под деревом». А деревья росли под самой стеной. Вот она и шла потихоньку – как-то уж дойду, хотя бы увижу, где его схоронили.

А другой встрече не бывать.

Он и вправду был там, под стеной – под плитой и под яблоней. Катерина никогда не нашла бы могилу, потому что надписи на плитах были на гэльском, и она ни за что не узнала бы написание имени. Поэтому спросила у какой-то женщины, которая шла навстречу, и та, почему-то удивившись, указала ей место. Она даже окликнула Катерину:

«Мэм...» Катерина оглянулась, но женщина просто стояла и смотрела на нее. Просто смотрела.

В траве тут и там краснели маленькие яблочки. Катерина осторожно наклонилась и положила розу среди них. По крайней мере, годы можно было разобрать. 1944–1978. Двадцать лет прошло – с лишним. Нельзя встретиться с тем, кто ушел так далеко, как ты. Но я здесь, и обычай велит...

– Мэм?

Катерина оглянулась. Та женщина подошла поближе и смотрела на нее – пристально, с тревогой. На вид средних лет, ближе к сорока, бледная, черноглазая, в бесформенном пальто, в косынке, из-под которой выбивались темные кудри.

– Мэм, извините... Но кто вы такая?

– То есть?

– Вы спросили о моем отце. Но вы не здешняя. Никто, кроме меня, не ходит к нему – некому же. Ну, так вы...

– Я его подруга.

Женщина не улыбнулась, не стала смотреть приветливее, а только сказала:

– Я Кейтлин. Он... Я тут с вами постою еще, если вы не против.

Катерина кивнула и повернулась к могиле. Она молилась про себя, как делала это – за упокой – годами, но здесь и сейчас молитва казалась ей не очень уместной. Счастье человеческое – не знать ничего наверняка. Он где-то. Христианская вера говорила, что они не встретятся, пока мир не перестанет существовать. Мудрецы Востока сказали бы, однако, что он почти наверняка здесь – может, в этой яблоне. Или в камне. Или в той птице, что парила на ветру. Катерина закончила молитву, перекрестилась и не слишком набожно улыбнулась, потому что не могла вообразить себе Келли духом яблони, вроде дриады, ни камнем, ни даже альбатросом. Вместо этого она вспомнила ребенка, которого видела в автобусе по дороге в Слайго. Совсем маленькое дитя, оно еще даже не ходило, но сидело у матери на руках и с большим интересом все рассматривало. Суровая старуха с тростью нисколько его не пугала (впрочем, Катерина не знала наверняка, мальчик это был или девочка) – малыш заглядывал ей в лицо, смеялся и что-то бормотал беззубым ртом. Все его интересовало – набалдашник трости, вязанные перчатки Катерины, жесткая ткань ее пальто... Дитя словно впитывало мир – высматривало и ощупывало крохотными пальчиками, прислушивалось к рычанию мотора, шелканью дверей, к гомону пассажиров, – и все это приводило его в восторг. Нет, не стоит, невозможно было думать, что его неутомимая душа сейчас учится ходить или сладко спит у...

– Простите, мэм...

О. Это же та, как она сказала – Кейтлин? Дочь? Его дочь. Катерина всмотрелась внимательнее. Она совсем не была похожа на Келли, разве что такая же темноволосая.

– Не знаю даже, как вас зовут....

– Зовите меня Катерина.

– Так мы тезки с вами...

– Ну да. Чем могу вам помочь?

– Ох. Не знаю даже, как и сказать. Ну, я про отца. Понимаете, я... очень мало его знала. Привыкла думать, что он умер, раз мама так говорила. А потом вернулся сын старой Роуз... И... Всего несколько недель, и... И я не успела ни привыкнуть, и узнать его толком.

Счастливая ты, девушка, подумала Катерина. Несколько недель. Несколько недель.

– Ну и для меня это вроде как чудо, увидеть кого-то из его друзей... Ну или хотя бы тех, кто его тоже знал. Вы же были ему... друг?

Катерина кивнула. Келлина кровь, точно, – говорливая, пылкая.

– Конечно.

– Значит, у него друзья были... То есть, я хочу сказать, он был... Ох, ну, может, мы не будем тут стоять? Пойдем к нам домой? Муж на работе, дети в школе – попили бы чаю,

поговорили о нем? Я ведь толком не знаю, что он за человек был: с одной стороны, вроде и слова доброго не стоит, перекаати-поле, а с другой... Так иногда – прямо сердце болит...

– Скучаете о нем?

– Сама не знаю. Да, наверное. Вот странно, правда? Он маму бросил, когда они оба еще почти дети были... Маме было трудно одной, да еще и это все, ну, понимаете... Незамужняя с ребенком... А он где-то там порхал себе по белу свету... Мне бы его ненавидеть за это, но, – она оглянулась на могилу и вздохнула. – Каким бы он дураком ни был в шестнадцать лет-то... А вернулся – как гром с ясного неба, да и сам как та молния... Сверкнул и исчез... Но вот мой младший, знаете, ходит в ту школу танцев, что он основал – ее все-таки построили и открыли, и денег никто не осмелился украсть. Но школа – это все, что от него осталось, а мне даже не с кем...

– От него немало доброго осталось, дорогая моя, – ответила Катерина, опираясь на руку Кейтлин. – Наши с ним дороги, к сожалению, тоже пересеклись ненадолго... Но я вам скажу – я не жалею, что я его знала.

Господь, кажется, и вправду благословил много чего из того, что ты делал, мой Келли, даже то, что ты делал как грешник, между прочим, не заботясь вообще ни о чем... Господня любовь, наверное, действительно безгранична. Надеюсь, он уж и тебя как-то утешил. Прощай, любимый мой. Прощай.

– Идемте, – сказала она и увидела, что глаза у Кейтлин не черные, а такие же, как у отца – карие с золотыми точками. – С радостью выпью с вами чаю, деточка.